

Б И Б Л И О Т Е К А

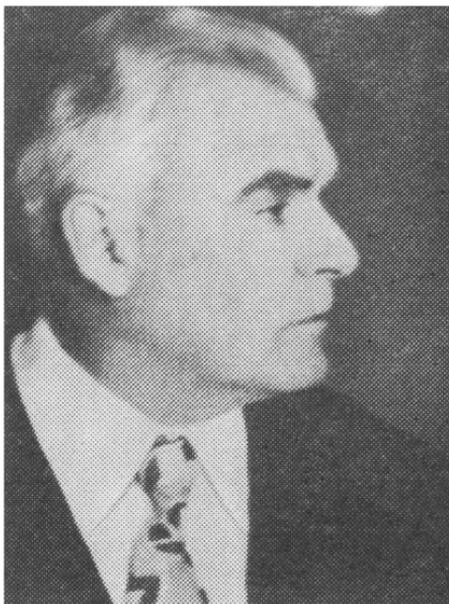
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 46

1984



Евгений ОСЕТРОВ

**ЗАПИСКИ
СТАРОГО КНИЖНИКА**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 46

Евгений ОСЕТРОВ

**ЗАПИСКИ
СТАРОГО КНИЖНИКА**

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1984

Евгений ОСЕТРОВ

Евгений Иванович Осетров родился в 1923 году в Костроме, в семье книжников-библиотекарей. После окончания десятилетки в 1941 году ушел на фронт, принимал участие в боях на Смоленщине, был в числе тех, кто форсировал Десну и Днепр. После тяжелого ранения под Гомелем его демобилизовали, и с того времени он постоянно работает сначала в местной, а затем в центральной печати. Работал в костромской газете «Северная правда», владимирской газете «Призыв», был первым заместителем главного редактора газеты российских писателей «Литература и жизнь» (ныне «Литературная Россия»), референтом отдела литературы и искусства газеты «Правда», членом редколлегии «Литературной газеты». Последние двадцать лет является первым заместителем главного редактора журнала «Вопросы литературы» и одновременно главным редактором «Альманаха библиофила».

Закончил Литературный институт имени А. М. Горького и Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Евгений Осетров — автор книг по истории отечественной культуры, в том числе сборника литературно-критических статей «Познание России», лирических новелл «Живая Древняя Русь», монографий, посвященных «Слову о полку Игореве», поэзии Исаковского, Рыленкова и Твардовского, книг о Московском Кремле, вышедших в многочисленных зарубежных изданиях, а также постоянно публикуемых в периодике статей о стихах и поэтах, о книгах и книжниках.

Свыше двадцати лет является председателем клуба писателей-книжников при Центральном Доме литераторов в Москве.

ЗАПИСКИ СТАРОГО КНИЖНИКА

Полистать эту книгу — редкая удача, выпадающая не каждому. Для меня же встречи с ней — «чудное мгновенье». Я гляжу на мелкими литерами набранную фамилию и думаю, сколько лет подвижнического труда, ночей без сна, надежд, взлетов, падений, страхов, свершений с ней связано. Книга — продолжение жизни ее создателя, и она испытала, как и ее творец, множество приключений и злоключений.

Открываю кожаный переплет и вижу, как сочно цветет гравюра на плоскости листа: море, корабль, флаг, остров-причал. Вчера или позавчера родился отпечаток под уверенной рукой мастера? Память услужливо подсказывает строки:

Корабль,
Бегом волны деля, из очей ушел и скрылся.

Еще Пушкин пленился строками, их плавностью и живописностью, а ведь гексаметры эти созданы за десятки лет до Жуковского и Гнедича. Конечно же, дорогой читатель, ты узнал по одному строю речи бессмертного рыцаря «Тилемахиды»... Книга, которую я ныне держу в руках, — «Езда в остров Любви». В 1980 году ей — ровно 250 лет. Дату невозможно не отметить, ибо созданный Третьяковским перевод романа-аллегии П. Тальмана — начало всех начал. Книга, без которой история литературы нового времени непредставима. Появилась «Езда в остров Любви», и по-иному стали выглядеть лица, золоченые кареты, Невская перспектива, иным стал разговор придворных, академиков, военных. Книга, впитывая время, обладает свойством изменять окружающее.

Итак, я листаю изящно изданный том. Конечно, с нашей точки зрения, в романе много умозрительно-забавного. Действует некая жена по имени Глазлюбность — так на «язык родных осин» Третьяковский перевел Кокетство. Глазлюбность дает советы, как быть счастливым в любви. Действуют и другие пасторальные герои. Но дело все в том, что аллегория была написана простым слогом и означала попытку обмирщения языка. Без этого литература не могла дальше развиваться. Третьяковский настойчиво подчеркивал желание писать «вразумительно».

Едва ли не большее значение, чем роман-аллегория, имели «Стихи на разные случаи», написанные молодым Василием Кирилловичем на русском и французском, переведенные с французского. Таким образом, перед нами первый сборник лирики нового времени, пришедший по вкусу читателям, которые не хотели и не могли довольствоваться виршами, скажем, Симеона Полоцкого. «Вертоград многоцветный» в дни Третьяковского был глубокой и невозвратимой архаикой. Время долгополых кафтанов и длинных бород прошло. На картинках тех лет или на печных изразцах мы видим щеголей в золотистых камзолах с трубками, галантно пирующих или беседующих. Или читающих стихи, обращенные к Купидо (т. е. Купидону). А вот строки, рисующие грозу:

Набегли тучи,
Воду несучи,
Небо закрыли,
В страх помutilи!

В них нет никакой тяжеловесности. Стихи как стихи, их можно читать, а при желании и петь. Что и делали прадеды, тогда — молодые офицеры, первые читатели «Езды в остров Любви».

Книга разошлась быстро и стала навсегда библиографической редкостью. В наши дни даже в прославленной библиотеке Смирнова-Сокольского не было первого издания. Покойный Николай Павлович, насколько мне известно, весьма дорожил «вторым тиснением», вышедшим из типографии Морского шляхетского корпуса. Еще раз «Езда в остров Любви» в пушкинскую пору выпустил деятельный знаток старины И. М. Снегирев. С тех пор отдельным выпуском она не выходила.

Разговорным и совершенно непринужденным стилем написано обращение «К читателю», в котором Третьяковский рассказывает об истории создания книги. Прежде чем привести подлинные высказывания поэта, я хочу напомнить некоторые страницы его жизни. Способом пешего хождения юный Василий Кириллович пришел из Астрахани в Москву, где и определился в Славяно-греко-латинскую академию. Ведомый жаждой познания на собственный страх и риск отправился в «Европейские края», где из Голландии пешком пришел в Париж, посещал лекции в Сорбонне, неумоимо читая книги, приобретая самые разнообразные познания. В совершенстве выучил французский язык и писал довольно легко стихи по-французски, давая им названия на русском: «Песенка к красной девушке, которая стыдится и будто не верит, когда ей говорят, что она хороша». И так, в предисловии к книге, вышедшей в Петербурге, Третьяковский писал: «...оное выдано на французском языке в Париже в 1713 году, и учинила великую своему творцу славу (которая всем охотникам и в мою бытность была памятна), потому что он весьма разумно ее выдумал, и могу после всех доблорассудных сказать смело, что она еще первая в своем роде такова

нашлась. Будучи в Париже, я оную прочел с великим удовольствием моего сердца, усладившись весьма, как разумным ее вымыслом, стилем коротким, так и виршами очень сладкими и приятными, а наипаче мудрыми нравоучениями, которые она в себе почти во всякой строке замкнула так, что в тож самое время горячо возымел желание перевести оную на наш язык...» И следует покаянное признание: «Когда я был в Гамбурге, по случаю через несколько время, где не имел никакого дела, со скуки я пропадал... Здесь-то, в Гамбурге, и сыскал Василий Кириллович «Езду на остров Любви» у знакомой девицы и перевел ее. Издание Третьяковский посвятил своему влиятельному покровителю Александру Борисовичу Куракину, — в доме князя, находясь в Париже, Василий Кириллович жил. Нет никакого сомнения, и переводческой работой в Гамбурге ученый скиталец смог заняться только потому, что находился «при щедром содержании от благодетелей». Недаром в книге был помещен фамильный герб Куракиных — так переводчик-поэт выразил свою благодарность.

Просветитель по натуре, Третьяковский, выпуская в Петербурге книгу, даже среди любовных стихов ухитрился напечатать (на французском языке) «Правила, как знать надлежит где ставить запятую, двоеточие, точку, вопросительную и удивительную». Изумляясь этому не следует. Василий Кириллович хотел сделать все! Трудолюбию его, не знавшему предела, удивлялись современники. Был случай, когда тринадцать из переведенных им тридцати огромных томов спорили, Третьяковский перевел их заново. Напомню также, что Третьяковский напечатал «Разговор об ортографии» — первый отечественный трактат о фонетике, об особенностях звуковой речи.

Издавая книгу, Третьяковский заранее ожидал неприятности от сотоварищей по перу. Этим, видимо, следует объяснить, что «Езда на остров Любви» заканчивается насмешливым обращением-вызовом, названным «К охуждателю зоилу»:

Много на многи книги, вас, братец,
бывало,
А на эту неужели вас таки не стало?

Конечно, у Василия Кирилловича — все знали — был нелегкий характер. И ожидаемые неприятности с книгой произошли — поэт, что называется, как в воду глядел. Среди литераторов существовало злословие, оно и дало свои плоды. Говорят даже, что Третьяковскому пришлось скупать и уничтожать «Езду на остров Любви». Сведения эти исходят из кругов, недружественных поэту. Было ли это в точности, мы не знаем. Подлинные же беды пришли позднее, особенно после публикации длиннейшей «Тилемахиды», встреченной осмеянием. Новые читательские поколения стали иронически относиться к поэту. Но мы должны помнить, что во времена, когда Василий Кириллович сочинял «Стихи похвальные Парижу», далеким будущим был

Державин, еще ничто не предвещало Карамзина, кто и говорить о пушкинской пляде и самом Пушкине. Последний, кстати говоря, ревностно отстаивал заслуги Тредиаковского, особенно его стиховедческие изыскания. Когда Лажечников в романе грубо осмеял Тредиаковского, Пушкин с негодованием заметил: «Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей». Если вам доведется быть в музее Пушкина в Москве, загляните в библиотеку И. Н. Розанова и попросите показать книгу, несущую в облике своем отсвет забываемого столетия.

* * *

«Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...» Едва замолкнешь, — кто не знает этих строк? — соседствующий голос непременно продолжит: «И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя». Пушкинский «Цветок» вызвал множество подражаний... Но теперь я, движимый «мечтою странной», хотел бы сказать не о цветке, положенном меж книжных страниц, а о живых поэтических букетах, собранных некогда «на берегах Невы». Догадливый читатель, разумеется, понял, что речь идет о «Северных цветах» — лучшем, наиболее прославленном альманахе пушкинской поры. Зададим же себе, держа в руках «Северные цветы», пушкинские вопросы: «Где цвел? когда? какой весной? и долго ль цвел?»

Люблю в свободную минуту, уйдя от суеты, подойти к полкам и взять в руки «Северные цветы». Что ни страница — восторг, уму и сердцу восхищение. Судите, друзья, впрочем, сами. Открываю наугад альманах, и в комнату врываются соловьиные трели:

Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночь пропоешь?

«Русская песня» Антона Дельвига, став алябьевским «Соловьем», облетела мир. Первоначально (как не вспомнить!) «Соловьем» пленила слушателей красавица цыганка Татьяна Демьянова, а затем без него не обходились Полина Виардо и Аделина Патти. Существуют работы, посвященные биографии «Соловья», на редком концерте не звучит он теперь. Любят все, любят у нас «Соловушку» и по давней привычке украшают пение соловьиными трелями. А ведь всему начало — альманах «Северные цветы».

Листаю книгу, и опять в ушах музыка и мощный голос выводит:

Не бил барабан перед смутным полком...

При чтении стихов глазами, когда звуковая сторона оказывается несколько приглушенной, обращаешь внимание на чеканность поэтического вывода: «И мы оставляем тебя одного с твоею бессмертною славой». Невольно думаешь о Иване Козлове, которому Пушкин посвящал прочувствованные стихи, чьи песни-переводы стали народной музыкальной классикой. Едва ли можно отыскать у нас человека, который бы не знал бессмертный «Вечерний звон».

Что и говорить, «Северные цветы» блещут первоклассными поэтическими именами. Пушкинская плеяда предстает на страницах альманаха в богатейшем разнообразии — Батюшков, Баратынский, Вяземский, Языков, Федор Глинка, Туманский, Шевырев, Гнедич, Плетнев... В книге, помеченной 1826 годом, перед читательским взором предстали такие поэтические жемчужины, как «Надпись» («Взгляни на лик холодный сей!») Евгения Баратынского, «Подражание Ариосту» К. Батюшкова, «Нарвский водопад» Вяземского, «Мы» Дельвига... Едва ли не каждая публикация в стихах или прозе прямо или косвенно связана с именем Пушкина. Вот стихи, посвященные Ольге Сергеевне Пушкиной — сестре поэта: «Я полюбил в тебе сначала брата, брат по сестре еще мне стал милей». Когда, например,ходишь, листая альманах, до «Пояса Киприды», отрывка из «Илиады», переведенной Гнедичем, то невозможно не вспомнить пушкинских строк: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи; Старца великого тень чую смущенной душой». Отдел переводов — и это надо отметить — в альманахе сказочно богат. Здесь мы видим сербские народные песни, переложенные Александром Востоковым, филологом-славистом, стихотворцем. «И радость былая, как ночью луна, видна, но далеко, ярка, но холодна», — гласит перевод Козлова из Байрона, кумира тогдашних романтических времен.

Как не значимо опубликованное в альманахе, все-таки оно отступает на задний план, делается всего-навсего окружением, оттенком к основному, находящемуся в «Северных цветах», перед появлениями на страницах печати творений Пушкина. Говорят, что самым дорогим (в денежном смысле) на книжных аукционах в мире считаются прижизненные издания Шекспира. На пороге двадцать первый век, и нет никакого сомнения, что первые публикации Пушкина мы теперь должны ценить наравне с драгоценными автографами и другими духовными письменными и печатными сокровищами. В «Северных цветах» за 1826 год опубликованы «Отрывок из письма А. С. Пушкина к Д...» (т. е. Дельвигу), стихи «К чему холодные сомненья», «Подражание Корану», «Баратынскому» («Сия пустынная страна...»), «Ему же», отрывок из поэмы «Цыганы». Открываю страницу альманаха и читаю:

Ее сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.

Перед нами отрывки из второй песни «Евгения Онегина». Так доходило до читателя величайшее произведение, без которого ныне невозможна русская литература. В «Северных цветах» были напечатаны отрывки из «Бориса Годунова», поэма «Граф Нулин»...

Альманах выходил ежегодно с 1825 по 1832 год. Редактором и составителем был Антон Дельвиг, взявший за дело с помощью известного книгопродавца и издателя Ивана Сленина. Впрочем, с последним Дельвиг довольно скоро расстался и книги печатались под присмотром Ореста Сомова, видного теоретика романтизма, критика, прозаика и журналиста, дельного человека. Несколько лет подряд выпуски открывались «Обзором Российской словесности», писал их Сомов. Последний выпуск «Северных цветов» был издан Пушкиным в пользу семейства Дельвига, когда последнего уже не было в живых.

Альманах, вышедший удобным карманным форматом, был необычайно красив. Недаром в его издании принимали участие Орест Кипренский, помещались гравюры с работ Карла Брюллова и знаменитого Ф. И. Иордана. Знакомый Пушкину рисовальщик В. Лангер для каждого выпуска рисовал цветы, которые и стали изобразительной аллегорией альманаха.

Книги являются и своего рода памятником дружбы Дельвига с Пушкиным, пронесенной ими с отроческих лет до могилы. Страницы альманаха — отсвет этой дружбы. Недаром в одном из писем Пушкин горестно воскликнул: «Никто на свете не был мне ближе Дельвига». Мы никогда не забудем, что именно после смерти автора «Соловья» в стихах Пушкина начинает звучать элегический мотив: «Зовет меня мой Дельвиг милый» — эта поэтическая формула поразительно прихотливым образом отозвалась в «Петербурге» Андрея Белого, получив под пером последнего многозначное переосмысление. Немногие знают, что существовало приложение к «Северным цветам» — «Подснежник», вышедший в двух книгах. В «Подснежнике» печатались Пушкин, Дельвиг, Языков, Вяземский, увидели свет переводы из Адама Мицкевича.

Знатоки высоко ценят «Северные цветы». Говорят, что в старину библиофилы определяли время появления на свет книги по запаху. Ко мне как-то зашел человек с предложением купить два выпуска знаменитого альманаха. Я сильно огорчил пришедшего, сообщив ему, что его книги — всего-навсего копии. Книги на 1825 год и на 1826 год были переизданы в 1881 году университетской типографией в качестве приложения к «Русскому архиву». Тираж переиздания был небольшой, и сейчас эти книжечки также представляют определенную ценность. «Как вы узнали?» — спросил меня пришедший. «По запаху», — ответил я. Но это была только шутка. Наиболее точная примета — бумага, она позволяет почти всегда безошибочно определить время издания.

Современная Пушкиниана из года в год пополняется. Пора нам предпринять полное издание «Северных цветов» — от первой книги до последней. Альманах нужен всем — и знатокам и просто любителям Пушкина, которым несть числа.

Дельвигские Цветы и сегодня цветут неувядаемой красотой.

Лермонтовский Демон и созданные Михаилом Врубелем демонические лики сливаются. И у поэта и у живописца — образ духа титанического, страдающего, скорбного, наделенного неистовой жаждой жизни. Врубель был одарен воображением Лермонтова, передавая красками то, что поэт рисовал словами. Другого «Духа изгнанья» мы не знаем, да и знать не хотим. Но как же быть с рисунками, акварелями, картинами самого Михаила Лермонтова — их много, они составляют зал-галерею, в них врубелевского, разумеется, ничего нет. При желании сопоставлять всплывают в памяти совсем другие имена, например, Алексея Венецианова, жившего в ту пору. Исследователи называют имя близкого к поэту художника Г. Г. Гагарина. Теперь, когда существует альбом, посвященный картинам, акварелям и рисункам Лермонтова¹, время размышлять о живописном наследии творца «Демона». Сам по себе превосходно изданный на мелованной бумаге альбом — долгожданное событие, и как тут не вспомнить начало знаменитого куплета: «Пой в восторге русский хор, вышла новая новинка...»

Стихи и проза Лермонтова полны живописной красоты. Напомню наблюдение Иннокентия Анненского: «...поэт любит розовый закат, белое облако, синее небо, лиловые степи, голубые глаза и золотистые волосы». Долгое время считали, что между Лермонтовым-поэтом и Лермонтовым-художником мало общего. Но дело все в том, что Лермонтов, никогда не посягавший на то, чтобы нарисовать карандашом Демона, охотно изображал сцены подлинной, им увиденной жизни. В нем жило внутреннее стремление к тому, что позднее стали именовать реалистическим письмом.

До читателей доходило лишь незначительное в количественном отношении воспроизведение графических и живописных работ Лермонтова; знали то, что скупо печаталось в сборниках, в собраниях сочинений. Более целостное представление можно было составить по изданиям, предназначенным для знатоков. Но тома «Литературного наследства», выпущенные десятилетия назад, далеко не в каждой библиотеке найдешь. И вот наиболее полное издание, чем все выходившие раньше, книга-альбом, где свыше ста шестидесяти изобразительных работ Лермонтова. Да, в них нет ничего и не могло быть от Врубеля, совсем иная эпоха. Они, разумеется, бесконечно далеки и от знаменитых рисунков Пушкина. Рисунки, как

¹ Лермонтов. — Картины, акварели, рисунки. Составление и каталог Е. А. Ковалевской. Пояснения в альбоме И. А. Желваковой. Вступительная статья И. Л. Андроникова. Макет и оформление Э. Д. Меджитовой. Изд-во «Изобразительное искусство». М. 1980.

правило, возникали у Пушкина в ходе работы: «...перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов ни женских ножек, ни голов». Минутная заминка — и на бумаге очертания-силуэты Татьяны или летящего Меркурия, голова Данте... Пушкинский рисунок неотрывен от стихов, он часто составляет своего рода дополнение того, что выражено словами. У Лермонтова же все по-другому. Как к этому относиться? Правда, до нас дошли почти исключительно беловые рукописи Лермонтова, на которых рисунок встречается в редких случаях. Но дело-то не в том, что на беловых рукописях не рисуют. Стихия поэтическая у Лермонтова живет отдельной жизнью; связь у него слова с красками и линиями носит глубоко подсудный характер. У Пушкина рисунки — графический дневник создаваемых творений. У Лермонтова — изобразительный дневник встреч на жизненном пути с людьми и с природой. Карандашом и маслом Лермонтов изображал жизнь такой, какой она открывалась взору совсем молодого человека: припоминание предков, древние рати, офицер с девушкой, штатские на прогулке, всадник в лесу, коляска, запряженная тройкой, лезгинка, казак с пикой, домик в Тамани, схватка в горах, развалины в Кахети, сцены из провинциальной ставропольской жизни. И всюду Кавказ, Кавказ, Кавказ — волшебный, единственный, всегда манящий.

Едва ли не лучшее в живописном наследии — автопортрет. Поэт изобразил себя в форме Нижегородского драгунского полка со всеми ее неотъемлемыми признаками — газырями, шашкой и, разумеется, наброшенной на плечо романтической буркой. Главное же на портрете не одеяние в духе Бестужева-Марлинского, а выражение глаз, неизъяснимое словами, но заставляющее вспомнить лермонтовское определение подобного состояния духа: «Забуть? — забвенья не дал бог: — Да он и не взял бы забвенья!..» Ничего равного иконография автора «Мцыри» не знает. Воображение тревожил парус на воде, его Михаил Юрьевич рисовал и, наконец, душа встрепнулась, и был создан такой шедевр, как «Белеет парус одинокий...», — без него непредставима лирика столетия. Нет, конечно, существуют глубокие подпочвенные связи, объединяющие поэта и живописца.

Теперь, когда мы можем составить довольно полное представление о графике Лермонтова, следует вести речь о том, как рисовальщик Михаил Юрьевич достиг высот наиболее мастеровитых представителей круга Венецианова. Его живой карандаш — предвестие натуральной школы с ее пристрастием к точному наблюдению, пронизательностью, меткостью и точностью характеристик. Его интерес — бытовые сцены, полные энергии («Юнкерская тетрадь»), они заставляют нас видеть в Лермонтове не только уверенного рисовальщика, чьи работы полны движения, но и одного из пролагателей путей (пусть его опыты носили альбомный характер и как бы «растворялись в воздухе), на которых возникли такие фигуры, как Павел Федотов и Александр

Агин. Лермонтовские рисунки родственны таким его произведениям, как «Валерик», «Тамбовская казначейша», «Бородино».

Книга — плод труда нескольких поколений ученых, отыскивавших и постигавших «лермонтовский клад». Сколько разнообразных приключений испытали рисунки, альбомы, картины. Некоторые из них совершили заморские путешествия. Первым из исследователей, наверное, надлежит (будем справедливы!) ныне вспомнить Николая Павловича Пахомова, любопытнейшую фигуру Москвы коллекционной, антикварной, литературоведческой и искусствоведческой. Кто из нас, книжников, не знал никогда не старевшего, быстрого и подвижного, язвительно-остроумного человека, одного из создателей музеев Лермонтова в Тарханах и Пятигорске, неумолимого устроителя выставок, многолетнего директора музея в Абрамцево... В сороковых годах Пахомов опубликовал работы «Лермонтов в изобразительном искусстве» и «Живописное наследие Лермонтова», заставившие всех нас задуматься над тем, что означало пристрастие поэта к изобразительным занятиям. Пахомов показал, как сложно взаимодействовали в руках одного человека, имевшего «особую склонность к музыке, живописи и поэзии», перо, кисть, карандаш... Николай Павлович, постигая мир Лермонтова, любил рассуждать, заглядывая ко мне, об умениях поэта легко, непринужденно, артистично набрасывать характерные физиономии, силуэты скачек на лошадях, о том, как изумительно передавал поэт ощущение движения. Вышедший в свет альбом — материализация давней мечты Пахомова, хотя главное, как мне представляется, еще впереди. Москва — родина Лермонтова не имеет музея поэта, а ведь показать есть что. Выше я говорил о поистине прекрасном автопортрете Лермонтова. Его поэт написал для Вареньки Лопухиной. Интересна судьба лермонтовского подарка. От Лопухиной портрет перешел к Верещагиной-Хюгель. В восьмидесятых годах прошлого века с портрета сняли копию, которую позднее и воспроизводили в печати, а оригинал вроде бы затерялся. В 1961 году его обнаружили в Федеративной Республике Германии, а через год Ираклий Луарсабович Андроников привез автопортрет Лермонтова в Москву. Так изображение, поскитавшись по свету, вернулось в пенаты.

Давнее библиофильское поверье гласит, что книга, сколько бы она ни путешествовала, в конце концов приходит к тому, у кого она и должна быть. Знаю, как много примеров-подтверждений. Листаешь альбом, а в ушах звучат бессмертные строфы — Толстой считал лермонтовское «Бородино» зерном его «Войны и мира». А ведь написал «Бородино», как и «Героя нашего времени», юноша, рисовавший все эти скачки, «Вид Крестовой горы» и женские портреты, вдохновивший позднее и Врубеля на бессмертные полотна, создавший строфы и образы, живущие в сердце каждого из нас.

* * *

*

У Николая Семеновича Тихонова был четкий и красивый почерк, соответствовавший его поэтическому характеру. Я снимаю одну за другой книги с полки, еще и еще раз перечитываю автографы — производят они впечатление беседы. Как будто только-только поговорил с Николаем Семеновичем по телефону. До сих пор не могу еще привыкнуть к мысли о том, что нельзя снять трубку и набрать его переделкинский номер... Беру томики тихоновских стихов и слышу живую речь поэта, которую Москва так любила. И строкой и жизнью своею поэт беседует со мной:

Праздничный, веселый, бесноватый
С марсианской жаждой творить...

Листаю страницу за страницей:

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

Одно из знаменитых лирических стихотворений двадцатых годов, вобравшее в лаконичных строках эпоху.

Заключительное двустушие в другой лирической жемчужине, ставшее афоризмом:

— Видно, брат, и сожженной березе
Надо быть благодарной огню.

Приведенные строки я взял из собрания стихотворений в двух томах, вышедших в 1930—1932 годах в Ленинграде. Том первый выпустило издательство «Прибой», второй напечатало Государственное издательство художественной литературы. Тираж первого тома 2000 экземпляров, второго — 3140. Как видим, вторую книгу пришлось выпустить повышенным тиражом — признак очевидной читательской заинтересованности. В начале тридцатых годов было много любителей стихов, но, разумеется, никто не мог и мечтать об астрономических тиражах, возникших в послевоенное время.

Немного о тихоновском двухтомнике, попавшем в мою библиотеку не совсем обычным путем. В военную пору я служил в батальоне связи. Мне, почти мальчишке, тогда довелось познакомиться с Александром Дмитриевичем Смирновым, одним из старейших московских издателей, — он был на фронте воентехником. Смирнов получал из тыла письма с литературными новостями, которые мне всегда хотелось знать. Если не было боя, я приходил к Александру Дмитриевичу в землянку или он разыскивал меня. Письма из тыла присылала Александру Дмитриевичу жена Нина Андреевна, бывшая некогда ученицей Валерия Брюсова. После войны я узнал, что Нина Андреевна

тщательно и со вкусом собирала книги. В том числе «раннего Николая Тихонова». После ее смерти, выполняя волю покойной, Александр Дмитриевич передал ее стихотворную библиотеку мне.

Я рассказал эту историю Николаю Семеновичу Тихонову. Он очень оживился и стал рассказывать, что он много раз в военные годы писал о героях-книжниках.

— Впрочем, прочитайте,— сказал он.

Развернув книгу, я прочел: «...я увидел, как красноармеец старательно счищал прилипшую грязь с книги в большом красном переплете. Рядом с ним лежал парусиновый мешок, туго набитый книгами.

Боец заинтересовал меня. Я подошел к нему и спросил:

— Откуда книги?

— Это для лейтенанта Богомолова,— сказал он.

— А кто такой Богомолов?

— Борис Иванович книги собирает тут, в городке, сам и других просит. Он и зимой, в морозы, лазил тут в домишках, хоть и разрушено сильно, а что-то кое-где, смотришь, и уцелело.

— А зачем ему книги?

— Как зачем? Народное добро спасает. Он, знаете, сколько книг спас из огня, из развалин...

— Да разные, хорошие вообще. Пушкин, Лермонтов, Толстой. А то сказки арабские — «Тысяча и одна ночь», много томов. Они учебники отдали в школы — в Ораниенбаум, в Дубки, в Лебяжье... А бывало, столько книг попадалось, что сразу и не унести. В одном доме Шекспир так половину полки занял. Но вот тут не повезло. При поисках-то и стрелять приходится, от фашистов отбиваться, а уж потом вязать тюки да и тащить. А тут за подводой отправились, чтобы на другой день все сразу вывезти. А как к дому добрались, его уже и нет. Фашисты его так додолбили снарядами, что стены рухнули. А между кирпичей пламя. Кое-что вытащили, но это уже не то. Сейчас Богомолов далеко отсюда перешел со своей частью, а не забывает, все приходит, для пополнения дивизионной библиотеки берет. Тут на днях был, я ему одно место нашел, он на себе всего Чехова унес, спас, а помедлил бы, и Чехов бы, как Шекспир, погиб. Спас все-таки. Я вот ему насобирал книг, в порядок привожу. Думаю, не сегодня — завтра придет. Он знает, где меня найти...»

В другом месте этой же книги я прочел советы, которые давал Николай Семенович читателям. Они по-своему интересны: «Необходимо внимательно читать и с большой критикой. Здесь авторитетность автора — поэта или прозаика — не может играть роли, потому что, поскольку вам нужно выработать свои приемы, вы должны выбрать из прочитанного то, что является, по-вашему, хорошим и удачным для воспитания своего вкуса, потому что не может быть нейтрального принятия всего, что имеется в современной и дореволюционной литературе. Должен быть отбор любимых авторов. Нужно как раз

извлечь ту самую литературу, которая вам нужна, к которой есть тяготение».

Теперь эта книга «Писатель и эпоха» стоит с надписью Тихонова на моей книжной полке.

Николай Семенович любил дарить книги, его щедростью пользовались многие, и я не составлял исключение. В различные годы мне часто приходилось обращаться к поэту и видному общественному и литературному деятелю, страстному борцу за мир в связи с разнообразными редакционными заботами, возникавшими то и дело новыми и новыми потребностями. Теперь, когда все это позади, я думаю о том, что редко мне приходилось видеть Николая Семеновича в одиночестве. И в Колонном зале, залитом мраморным сиянием, и среди переделкинских аллей,— вижу его окруженным толпой, беседующим, улыбающимся, энергично-подтянутым, собранным, на редкость дисциплинированным... И, наверное, многие знали, каким он был упоительным собеседником-разговорщиком. Не скрою, что его беседы я ценил, ей-ей, не меньше его стихов. Когда выпадала редкая возможность, я задавал Николаю Семеновичу какой-либо труднейший литературный вопрос, и должен сказать, что из самых сложных обстоятельств он выходил с честью. Особенно интересно было слушать его суждения о поэтах начала века — их Тихонов знал в совершенстве, много размышлял о них и имел к ним собственный, сугубо личный подход.

Думаю, что последняя Звучащая книга (читателя еще ждет радость встречи с ней) и родилась из этих бесед. Николай Семенович произносил речи по радио, посвященные литературе. Он был увлечен работой. Я поражался, с каким молодым упоением этот пожилой человек в канун восьмидесятилетия, а затем и переступив этот рубеж, говорил о смысле и значении звучащего писательского слова, о том новом жанре искусства, которое художникам слова предстоит открыть, звучащее слово дополняет и поясняет книгу — такова была тихоновская мысль. Читая сегодня его стихи, я думаю о том, что поэзия была для Тихонова всем на свете, в том числе и школой звучащего Логоса. А его упоительные рассказы о Востоке, о далеких странах и путешествиях, о поэтах Индии и Афганистана... Мало кто у нас так знал в подробностях в лицо Восток, как он.

Еще в отрочестве, рассказывал Николай Семенович, он задумал написать роман, посвященный Востоку. Работая над произведением, будущий писатель, сам того не замечая, стал ученым-ориенталистом, знатоком Востока. Путешествовавший с ним Мирзо Турсун-заде рассказывал:

— Приезжаем в неведомый город — Николай Семенович, как и все мы, в нем впервые. Но Тихонов уверяет, что за следующим поворотом дворец, а у его ворот стоит пушка. Подъезжаем — все так, как сказал Николай Семенович.

...Среди собирателей книг существует вопрос, простецкий, но задаваемый не без умысла: «Вы собираете для души или для работы?» Многое таится в этих словах, упреки адресуются и тем и другим. Я предпочитаю поэтический ответ: «Душа обязана трудиться...» В самом деле, можно ли себе представить, что книга поэта приобретает «не для души». Стихотворение тем и хорошо, что поэт разговаривает с читателем, происходит диалог двух равновеликих величин, поистине «звезда с звездой говорит». Я не боюсь упрека «в пользу». И для души и для работы. Приведу простейший пример. Когда я по договоренности с «Библиотекой всемирной литературы» начал составление антологии поэтов начала двадцатого столетия, я целыми днями сидел за книгами авторов, приобретая которых еще в юности, ни о какой работе над ними вовсе и не помышлял. Любил, и все тут. А вот пригодилось и для дела.

Николай Семенович не раз говорил, что он прожил большую и трудную жизнь. Я бы добавил, и счастливую жизнь. Не может быть несчастливым тот, кто умел одаривать заинтересованным радушием многих — ближних и дальних.

* * *

Кто из нас, книжников, если говорить, положив руку на сердце, не мечтает написать историю своей библиотеки? Книг много, достойна каждая внимания. С какой же начать? Какой отдать предпочтение? Углубиться в романтические времена элегических виньеток, перелистать шероховатые листы первых книг «гражданской печати» или посмотреть для начала, как литераторы наших дней запечатлели образ вулканической эпохи?

...Книга как книга — корешок сливается с другими синеватыми по цвету обложками моей любимой, собираемой давно «Библиотеки поэта». Возвратившись в Москву из дальней поездки, я каждый раз подойду к полке, прочту привычное имя, потрогаю переплет. Молча, про себя, беззвучно скажешь: — Здравствуй, дорогой друг. Запоет в душе мелодия, прозрачная, чистая, родная. Зазвучит — явственно различимо — излюбленный афоризм: «Родное поле говорит со мною, о самом близком в мире говорит». И начинается мысленный диалог с Михаилом Васильевичем Исаковским. Я вспоминаю его стихи, разговоры, которые мы вели на внуковских березовых аллеях, письма, встречи в давней его квартире возле Пушкинской площади, долгие телефонные беседы.

Немного об истории книги. Появилась она на свет в шестьдесят пятом году, и тогда, помнится, Михаил Васильевич был безмерно рад. Обычно «Библиотека поэта» публикует поэтическую классику и всевозможные явления былых лет, показывающие, как разнообразилась «техника стиха». А здесь большой том (год издания 1965) ныне живущего автора... Максим Горький некогда заметил совсем

еще молодого Исаковского, выделил его, благословил в литературную дорогу. И вот в канун семидесятилетия автора «Катюши» горьковская «Библиотека поэта» выпустила его стихи в своей Большой серии.

К вполне естественной радости, увы, примешались и огорчения. Михаил Васильевич всю жизнь страдал болезнью глаз. Временами он почти не мог читать — так приключилось в пору, когда том «Библиотеки поэта» выходил в свет. Листая книгу, Исаковский обнаружил, что не все в ней напечатано так, как бы ему хотелось.

Михаил Васильевич был требовательным к себе мастером. Небрежного отношения к слову он не терпел. Вполне естественно, что он, вооружившись ручкой, начал править строки и строфы, вклеивать в книгу перепечатанные на машинке новые варианты, вставлять пропущенные стихи, которые были ему дороги.

Зрелый Исаковский уверенной рукой улучшал свои молодые опыты, и много получило более точное и углубленное художественное выражение. Особенно настойчиво правил поэт стихотворную публицистику: снимал то, что ушло вместе со злобой дня, высветлял наиболее значимое. Приведу для пояснения пример. «Библиотека поэта» напечатала: «Я, может быть, на многих непохож, что не беру сегодняшнюю тему... Теперь в деревне поспевают рожь, а я — пишу крестьянскую поэму». Под пером Исаковского строфа зазвучала по-иному:

Быть может, я
на многих непохож,—
Не очень злободневен, может статься...
Но здесь такая
 поспевает рожь,
Что с мирной темой
 трудно мне расстаться.

Вклеил в том Михаил Васильевич стихотворение «Настасья», писанное по фольклорным мотивам, выправленное с большим ощущением современности, наполненное песенностью.

Сделав поправки и вклейки, Исаковский написал на внутренней обложке тома: «Это мой личный экземпляр (со вставками и пометками см. страницы 92, 156, 246, 327, 336, 345, 347). М. Исаковский. 1966». В ту пору мне довольно часто приходилось бывать у Михаила Васильевича, подолгу беседовать с ним, совместно заниматься разнообразными литературно-редакционными делами, спорить о стихах и поэтах. Чаще навещать больного Исаковского меня просили смоляне, и особенно Николай Иванович Рыленков. Я делал это с удовольствием. Меня поражала в Исаковском-человеке редкостная естественность, подобная его стихам. Михаил Васильевич охотно рассказывал о детстве и отрочестве, держал в памяти фамилии

деревенских сородичей, понимал их судьбы, характеры, привычки, охотно припоминал тон и манеры, воспроизводил любимые ими словечки и выражения. Нотки заразительного веселья звучали в его голосе, когда он вслух восстанавливал в памяти литературную жизнь Смоленска двадцатых годов. Он начал писать свою автобиографию, но закончить не успел, и многие мемуарные страницы остались только в памяти тех, кто слушал его.

Был Исаковский поистине добрым и справедливым человеком, готовым прийти на помощь по первому зову или без такового, если он знал, что требуется поддержка словом или какая-нибудь иная. Ничто и никогда не могло заставить его похвалить плохие стихи или малоудачную прозу — в этом Михаил Васильевич был непреклонным. И еще одна удивительная черта: он был совершенно равнодушен к тому, что называют «славой рецензий и диспутов». Его душа была щедро переполнена песнями, и он, неустанно ежедневно и еженощно трудясь, дарил их людям. Он был подобен лирическому герою своего стихотворения, который на память сажает вишню у дороги, мечтая о том, что путники, отдохнув в тени, отведав спелых ягод, вспомнят о том, кто сделал доброе дело: «А не вспомнят — экая досада, — я об этом вовсе не тужу: не хотят — не вспоминай, не надо — все равно я вишню посажу». Уехав жарким летом на дачу, он не забывал послать с оказией в раскаленную Москву букет цветов: глядя на них, я думал о внуковских перелесках и полянках.

Однажды из больницы — он часто находился в ней в последние годы — Михаил Васильевич позвонил мне по телефону:

— Порадуйтесь, завтра я буду дома. Врачи обещают. Приезжайте ко мне, я для вас приготовил подарок.

Случилось так, что утром мне пришлось срочно уехать из Москвы по неотложным делам и только из Киева я сообщил Михаилу Васильевичу, что встреча откладывается. Разговор состоялся через неделю. Исаковский взял с полки том «Библиотеки поэта» и попросил:

— Посмотрите внимательно мои исправления...

И потом добавил:

— Дарю эту книгу. Было бы хорошо, если бы в будущем удалось проследить, конечно, если издательства вздумают меня печатать, чтобы публиковались именно эти новые варианты.

Я, конечно, пообещал Михаилу Васильевичу сделать все, что от меня зависит. На первом листе Исаковский написал мне свое посвящение: «Евгению Ивановичу Осетрову от автора этой книжки с большой доброжелательностью и признательностью за все то, что он так талантливо и предельно честно делает в нашей литературе и за то, что он вообще хороший человек. 6/IV—68. М. Исаковский».

Прошло много лет. За эти годы состав моей библиотеки во многом изменился, два автобуса книг и рукописей я передал Костроме, родному волжскому городу. Но есть издания, которые сопутствуют

мне годы, и я, если говорить доверительно, без некоторых из них не представляю своего существования. Необходимой и всегдашней спутницей стала книга Исаковского, чьи стихи и ныне имеют общенародное звучание. Она, эта книга, — память о поэте-друге. И его литературное завещание. И его наказ и беседа. Едва ли не самая дорогая для меня книга.

* * *

Подлинный книжник умеет радоваться чужим собраниям даже больше, чем своим. Он всегда помнит, что книга — всеобщее достояние.

Москва издавна знала, гордилась и любила таких людей, как братья Третьяковы, основавшие знаменитую картинную галерею, как неутомимый Алексей Александрович Бахрушин, создавший театральный музей, как Алексей Иванович Мусин-Пушкин, собиратель древнерусских манускриптов и старопечатных изданий, в библиотеке которого работал сам Карамзин, как Сергей Александрович Соболевский, всеветно известный библиофил, друживший с Пушкиным и Проспером Мериме... Не надо думать, что «счастливейшие из людей», а именно так называл Гете собирателей, должны быть отнесены к далекому прошлому. И ныне коллекционерская и собирательская Москва знает звезды первой величины. Назову тех, что у всех перед глазами. Иван Никанорович Розанов — знаток русских стихов — создал библиотеку отечественной поэзии, ставшую теперь составной частью музея А. С. Пушкина в столице. А разве можно забыть Николая Павловича Смирнова-Сокольского, артиста и библиофила, к собранию которого обращался Алексей Николаевич Толстой, создавая роман о Петре Первом! Мне выпала удача совместно работать в «Альманахе библиофила» с Алексеем Алексеевичем Сидоровым, собирателем книг и графики, умевшим превращать каждую встречу в своего рода «театр книги», в котором показывались спектакли, посвященные перу и резцу, автору и издателю, писателю и художнику.

Удивления и восхищения достоин Михаил Иванович Чуванов, простой человек, создатель лучшей в Москве книжной и рукописной библиотеки, ставший своего рода достопримечательностью Москвы, как, скажем, храм Покрова-на-рву или Патриаршие пруды, или чудотерем из волшебной сказки, что в Крутицах. Патриарх книжной Москвы, он на десятом десятке своей жизни увидел только что выпущенный Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина книгу, названную «Коллекция старопечатных книг XVI—XVII вв. из собрания М. И. Чуванова». Всем ведомо и известно, что лучшим памятником собирателю и его библиотеке является каталог. Немало знаменитых московских книжников ушло из жизни, не удостоившись такой чести. Случившееся особенно поразительно, если мы вспомним,

что Михаил Иванович Чуванов учился на медные деньги, жил довольно-таки скромно и ушел на пенсию как типографский рабочий. Его последняя должность — метранпаж газеты «Труд».

Обдумывая жизнь Михаила Ивановича Чуванова, можно сказать, что его общение с рукописным и печатным словом носило двуединый характер — он собирал книги, а книги собирали его, выковывая Личность поразительной собранности, внутренней дисциплины, удачно сочетающихся с мягкостью в житейском общении и любовью к людям. Книги помогали Чуванову, он боготворил книгу, но переплеты не закрывали для него подлинную жизнь. К библиотеке Чуванова «в минуту жизни трудную» прибегала едва ли не самая лучшая часть литературной, театральной, художественной Москвы. Напомню, что ему посвящали свои надписи-автографы такие люди, как братья Васнецовы, великий Фаворский, Гиляровский («дядя Гиляй»), Новиков-Прибой, Сергеев-Ценский... В его собрании автографы Аксаковых, Есенина, Бунина, Михаила Булгакова, Марины Цветаевой, Георгия Чулкова. Перечень можно без труда продолжить, но напомню о том, что самую ценную часть его библиотеки составляют рукописи и коллекция старопечатных кириллических книг. В каталоге о них сказано: «Шестнадцатым веком датируются 16 экземпляров (15 книг) 14 изданий, напечатанных в Москве, Львове, Остроге и Вильно; в типографиях Ивана Федорова, Мамоничей, князей Острожских, Гарабурды, Андроника Тимофеева Невежи и его сына Ивана Андроникова Невежина; самая ранняя книга — один из первенцев московского книгопечатания, так называемое среднешрифтное «анонимное» Евангелие (около 1555 г.). Вторая книга коллекции — первенец украинского книгопечатания, львовский Апостол Ивана Федорова (1574 г.). В XVII в. вышли в свет остальные 185 экземпляров коллекции, которые представляют 121 издание одиннадцати типографий семи городов». Следует, кстати говоря, отметить, что каталог составлен И. В. Поздеевой с большой тщательностью, отмечен библиографической культурой.

В самые последние годы имя Михаила Ивановича Чуванова стало широко известным не только в Москве, но и далеко за ее пределами.

ИСТОРИЯ И СЛОВО

«Петр Первый» Алексея Николаевича Толстого — вершина творчества именитого романиста, одно из творений, стоящее рядом с «Тихим Доном» Михаила Шолохова и «Русским лесом» Леонида Леонова, «Теркиным» Александра Твардовского и песенной лирикой Михаила Исаковского... Создание выдающегося художника, преодолев речевую границу, стало еще в довоенную пору явлением мировой литературы — оно переведено едва ли не на все сколько-нибудь за-

метные восточные и европейские языки. «Петр Первый» существует в кино, театре и книжном рисунке. В мае 1980 года «Правда» напечатала сообщение из Минска о книжной выставке ко дню Победы: «Семья Красниковых выставила простреленный пулей том Алексея Толстого «Петр Первый», с которым их дедушка Г. Леонов дошел до Берлина». Поныне устойчив интерес к роману, не ослабевающий с приходом новых читательских поколений. Юные его читают с таким же пытливым вниманием, как и взрослые.

В чем тайна долговременного успеха? Первая книга «Петра Первого» увидела свет полвека назад — срок для жизни творения, что ни говорите, немалый. Много слов, печатавшихся в расчете на долгую жизнь, уткло в литературных реках и навсегда кануло в Лету. Сказать о художественной мощи романа — значит сделать шаг, чтобы верно объяснить неувыдаемость шедевра. В отшумевшие десятилетия наша словесность знала крупные произведения, воспроизводящие образ народа, как творца истории, написанные с незаурядной эстетической силой. Вспомним «Емельяна Пугачева» Вячеслава Шишкова, а также заметные полотна-фрески Чаплыгина, Новикова-Прибоя, Сергеева-Ценского, Бородина, Яна. Но картина исторической прозы столетия непредставима без «Петра Первого». Роман Алексея Толстого — вершинное достижение школы исторической прозы, представляющейся теперь своеобразной классикой современности.

...Жизненный путь Алексея Николаевича Толстого, отпрыска знатного и некогда богатого дворянского рода, у нас довольно-таки известен. Начав литературный путь на пороге столетия, Алексей Толстой — поэт, как многие, отдал дань декадентству, что, к счастью, оказалось мимолетной случайностью. Противоядием явилось обращение к народному словесному кладезю — песням, сказкам, преданиям, к былинным и волшебным образам. Все это богатство было приобретено в детстве и отрочестве в самарской хуторской глуши: «Я вспоминаю зимние вечера с такой тишиной, какой не знаю городским людям. Лишь ветер завывает в печи, либо волк подвывает из сада... Я очень любил былины и, конечно, одно время играл в богатырей». Любовь к народному слову прошла через всю жизнь питомца волжских берегов. В зрелые годы Алексей Толстой настойчиво заявлял, что от раннего сборника стихов «За синими реками», пронизанного фольклорными мотивами, он не отказывается.

Одновременно молодой автор настойчиво подвизался в прозе, напечатав в «Ниве», самом распространенном журнале семейного чтения, рассказ «Старая башня»; затем вышли в свет прозаические «Сорочьи сказки». Рождение свое как прозаика Алексей Толстой связывал с памятным ему 1909 годом, когда появились в печати рассказы «Соревнователь» и «Яшмовая тетрадь», объединенные эпиграфом: «Меланхолия, мечтательность и отвага — спутники счастливого любовника, и горе тому, кто, не чувствуя в себе одного из

этих качеств, отважится на похождение, достойное быть осмеянным». Перед нами первая, в достаточной степени стилизованная — в духе времени! — программа, если хотите, изначальный эстетический манифест, которые в те годы плодились в изобилии.

Прозаик победил поэта, но на всю жизнь был усвоен поэтический взгляд на природу и людей. В ранних опытах ощущалось еще стилизаторство. Но одновременно было видно, что автор умело взял на вооружение звучащее слово, живое, богатое движениями и внутренней силой. Так что едва ли начальные творческие годы были лишь школой ученичества. В рассказах и сказках присутствовало и очевидное мастерство, рождалось чудо прозы Алексея Толстого; его, кстати говоря, в литературных кругах быстро стали называть вполухутку — вполусерьез 3-им Толстым, чтобы не путать с однофамильцами Алексеем Константиновичем Толстым и Львом Николаевичем Толстым.

Максим Горький в десятом году в одном из писем прозорливо заметил, что «новый Толстой» обещает стать «большим, первостатейным писателем». Молодой художник завоевал читателя. Можно без преувеличения сказать, что его творчество довольно быстро стало достоянием всей страны. В круг всеобщего и повсеместного знания вошли рассказы и повести, объединенные названием-символом «Под старыми липами», рисовавшие осенние сны дворянских гнезд. Что стоил, к примеру, старик генерал, решивший заняться своим помещичьим хозяйством и увидевший, что ему на базаре никто не дает настоящей цены, приказавший свалить в реку — пусть видят перекупщики! — семьдесят возов пшеницы, свое единственное богатство. Большим успехом пользовались «Чудаки» и «Хромой барин», они и теперь звучат свежо и поэтично, что и говорить о десятых годах, когда их герои — упорно-нелепые чудаки были литературной новинкой. Кроме того, вся неторопливая реалистическая манера письма, близкая к Аксакову и Бунину, противостояла бесчисленным формальным изыскам с их речевым хаосом и смысловой бессмыслицей. Через жизнь пронес художник воспоминания юности, говоривший позднее, что в его памяти встают умные, чистые, неторопливые люди, берегущие свое достоинство.

Переливающиеся мягкие тона и полутона соседствовали в произведениях Алексея Толстого с бесшабашной удалью характеров (на манер Дениса Давыдова!), с чувством зазорной насмешливости и старинной тоской пушкинского Онегина, состарившегося и потускневшего. Рядом с «естественным человеком», которому автор отдает все свои симпатии, в рассказах и повестях действуют одичавшие помещики, опустившиеся, доживающие последние годы. В этом смысле на А. Н. Толстом завершилась давняя традиция изображения «дворянских гнезд».

В нелегкое для народа и писателя время первой мировой войны мы видим Алексея Толстого на фронте — сотрудником «Русских ведомостей», постоянно сообщающим читателям о том, что происходит на «театре военных действий». Трудно было вникнуть в пеструю и разноречивую суть трагических событий, но молодому литератору очевидно было, что волею обстоятельств ему дана возможность увидеть «русского человека на войне». Многие довелось познать на собственном нелегком опыте. Вспоминая об этом, Алексей Толстой писал: «Я видел разрушенные города и деревни, поля, взрытые траншеями, покрытые маленькими крестами, крестьян, молчаливо копавшихся в остатках пожарищ или идущих за плугом, посматривая — далеко ли еще от него разрываются снаряды, и женщин, которые протягивают руку на перекрестке дорог, я видел сторожевые посты на перевалах Карпат и огромные битвы по берегам Сана, я слышал, как вылетают из ночной тишины гранаты; я смотрел на наши войска в тылу и на месте работы». Обязанности военного обозревателя заставили писателя побывать на юго-западном фронте, проехаться по Кавказской линии, а также совершить длительные поездки в Англию и Францию. Все это не могло не создать огромный запас впечатлений и размышлений. К книжным знаниям добавилась образованность жизнью.

В «Русских ведомостях», в которых сотрудничали многие известные авторы, очерки молодого Алексея Толстого выделялись точностью и правдивостью описаний, серьезностью тона, богатством деталей. Лучшее из напечатанного на газетных страницах, в том числе «По Вольни», «По Галиции», «На Кавказе», включалось писателем в собрание сочинений. Толстой любил править напечатанное, исключая сиюминутное, выявляя то, что запечатлеvalo народный характер, показывая широту его и многогранность.

Литератор, выполняя дело журналиста — поводыря по запутанным переходам событий, настойчиво желал, как он заметил, чтобы сердце читателей «задрожало бы гордостью за наш народ, мужественный, простой, непоколебимый и скромный». Алексей Толстой был тогда еще бесконечно далек от научного понимания действительности, войны, ее происхождения и целей. Свою работу фронтового честного бытописателя он выполнял с присущей ему талантливостью и добросовестностью; много почувствовал Алексей Николаевич непосредственной пронизательностью, однажды сказав: «Знамение грядущего освобождения человечества поднялось с Востока».

Кровь фронта и тяготы тыла заставляли задумываться над простой радостью бытия, упорно отрицаемой декадентами, крикливо признававшими лишь минус-ценности. Рассказы Алексея Толстого, написанные в нелегкие годы, — удивительное и прекрасное явление культуры, оцененное еще в недостаточной степени. Один из самых

лучших образцов малой повествовательной прозы — «Утоли моя печали»; этот рассказ-письмо проникнут поэзией любви, уважением и сочувствием к простому человеку, унижаемому и нарочито принижаемому столичной декадентской литературой. Недаром учитель Соломин в рассказе искренно и горячо говорит, показывая приехавшему питерский журнал: «Так вот один здесь пишет: сам ты — зверь, жена твоя — самка, а любовь — инстинкт... Теперь другой режет напрямик: все равно ни до чего хорошего не доживешь, пускай пулю...» Примечателен насмешливо-разговорный тон эпистолы о поездке, связанной с желанием понять древнерусскую красоту как некую опору в годы потрясений. Обратившись к иконографическому образу, воссозданному еще юным Александром Блоком в стихотворении «Божья Мать Утоли мои печали...», Алексей Толстой нарисовал достоверную картину, в которой краски жизни светятся и через пыльное окошко древней деревенской церкви; читатель видит, как оранжевый закат широко полыхает за рожью. В рассказе много движения, запахов, звуков, противостоящих бумажным страстям и мистическим спорам. Верный хранитель реалистических традиций, А. Н. Толстой начал художественную полемику с декадентами, которую вел неутомимо много десятилетий, придавая ей различную окраску, — то высмеивая балаганных Пьеро и Мальвину, то рисуя декоративно-оперный облик длинноволосого поэта, пророчествующего о всеобщей грядущей гибели.

Война же обостряла вкус к невыдуманной яви, которую полюбил писатель, противившийся всей силой души отвлеченным — «симфоническим» понятиям, увлекавшим прославленного Андрея Белого и его окружение. С неистовым упорством изгонял Алексей Николаевич мистику из своих рассказов, хотя на нее были и мода, и спрос. Фронтные годы подвели черту впечатлениям юности; старые липы, олицетворявшие оскудевшие усадьбы, остались далеко позади. Время «Хромого барина» и «Чудаков» стало невозвратимым прошлым.

Художнику — и это понимал Толстой! — следовало мыслить в совсем других измерениях. «С первых месяцев Февральской революции, — писал в автобиографических заметках Алексей Николаевич, — я обратился к теме «Петра Великого». Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности». Писатель также отмечал, что рассказ «День Петра» — первый, открывающий толстовскую Петриаду, — был освещен октябрьским заревом. К большой теме были нужны длительные подходы. Началу работы предшествовал интерес Алексея Николаевича к такой современной фигуре, как Григорий Распутин, чьи похождения в царской семье, в среде финансовых, промышленных и политических воротил были тогда петроградской притчей во языцех.

Далеко не сразу удалось художнику обрести место в эпохе, отмеченной небывалыми социальными катаклизмами. Дорога к родной земле, проделанная в годы пребывания на чужбине, нелегка, и горек был писательский эмигрантский хлеб. Спасла только любовь к России. В открытом письме Чайковскому, видному деятелю эмиграции, — накануне отъезда на Родину — Алексей Николаевич с предельной ясностью признал: «Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам... И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль. По примеру Петра». Признание красноречивое и объясняющее многое в судьбе писателя. Влекущий образ Петра, замаячив на историческом окоеме, явился для Алексея Толстого якорем спасения, что позволило обрести причал у отеческих берегов.

Не столько писатель выбирает тему, сколько тема выбирает писателя, обогащая его своей глубиной и красками. Так именно и случилось. Справедливости ради следует сказать, что из чужих краев писатель возвращался не с пустым чемоданом. За рубежом была написана автобиографическая повесть «Детство Никиты», роман «Сестры», явившийся первой частью трилогии «Хождение по мукам», ставшей затем своего рода художественной летописью революционных лет и гражданской войны; вез писатель домой фантастико-приключенческий социальный роман «Аэлита», впервые напечатанный у нас и вошедший затем в постоянный круг юношеского чтения.

«Детство Никиты» — поэтическая жемчужина. Одно из немногих творений, которые можно поставить рядом с «Детскими годами Багрова-внука» Аксакова, с «Детством» и «Отрочеством» Льва Толстого. Есть в «Детстве Никиты» сторона, которую должно прочитать, как песню «малой родине», отлитую из чистого серебра, как пленительную цепочку картин родной природы, спокойной, уравновешенной, врачующей. Повесть насыщена пушкинским — ясным и гармоническим — отношением к жизни. Картины окружающего в «Детстве Никиты» — ожившие акварели: «Синий вечер отражался в лужах, затянутых тонким ледком. Похрустывали копыта, встряхивало таратайку. Артем сидел молча, повесив длинный нос, — думал про несчастную любовь к Дуняше. Над тусклой полоской заката в зеленом небе теплилась чистая, как льдинка, звезда». Здесь все как в пушкинских стихах — наилучшие слова в наилучшем порядке.

Победы пришли не по щучьему велению — они достигались в тяжких творческих борениях, в поисках, срывах, находках, открытиях.

Участник новой жизни, Алексей Толстой пережил наивысший

подъем в творчестве — в его слове воплотилась бездна художественного пространства. Литературная жизнь двадцатых годов была, как известно, отмечена пестротой эстетических средств и противоборством школ и течений. Еще плодились, как грибы после дождя, всевозможные манифесты, шумно отрицавшие культурное наследие и проповедовавшие как новое слово, призванное открыть городу и миру «сплошную невидаль». Старомодным признавался не только Пушкин, но и создатель «Войны и мира». На вооружение был взят лозунг обезчеловечивания искусства: «Дело не в том, чтобы нарисовать что-нибудь, что было бы совсем непохоже на человека, дом или гору, но в том, чтобы нарисовать человека, который как можно менее походил бы на человека...» Обращаясь к отвлеченным понятиям человека и массы, «неистовые ревнители» яростно нападали на представителей большого и истинного реалистического искусства, монументального и самобытного стиля — от Максима Горького до Алексея Толстого, упрекая их в старомодности и отсталости. В одном энциклопедическом (!) справочнике даже говорилось, что «Алексей Толстой стоит на крайнем правом фланге советской литературы».

Телеграфному языку и всяким историческим литературным вывертам Алексей Толстой противопоставил мудрость и плавность содержательной речи. Огромное значение имели размышления писателя о языке и жесте. Писатель не раз возвращался к соображениям о золотой русской речи и ее народных истоках. Смысл его наблюдений, рассыпанных в различных выступлениях, статьях и заметках, сводился к следующему. Фраза должна стать кристально чистой ясной и прочной, возбуждая в читательском воображении четкое представление. Решающее значение в этом принадлежит образу, возникающему по воле автора в воображении читателя. Писатель отвергал речь без цвета и запаха, лишенную метафоричности, ибо в каждом слове — «эпическое величие нетронутой красоты горящего неба», поэма, душа нации. Утрата органической связи между идеями и вещами равнозначна тому, как если бы живописец «приклеивал к портрету нос, отрезанный у покойника».

Живую речь нельзя было добыть из придворных тяжеловесных списков хартий, исполненных казенного великолепия. «Наверное, боярам казалось, — замечал А. Н. Толстой, — что, читая книгу или разговаривая по-книжному, они беседуют как ангелы на византийских небесах». Совсем по-другому выглядело живое слово в книге «Слово и Дело Государевы», изданной в свое время в Томске и Москве профессором Н. Новомбергским. Здесь был язык Дела, здесь «не гнушались «подлой» речью. «Там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь», — писал Алексей Николаевич. Вот, оказывается, где таился долгожданный золотой ключ, открывающий двери к подземным словесным сокровищам! Найденное

речевое богатство художник определил так: «Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства». Будущий автор «Петра» ссылался на то, что Пушкин учился не только у московских просвирен, но и читал пугачевские акты, то есть «деловые бумаги», — последние способствовали созданию классической русской прозы. Алексей Николаевич многократно и восхитенно рассказывал, как премудрые дьяки, сами того не ведая, творили высокую словесность, что возникает потребность обратиться к томам «Слова и Дела...» как к давнему языковому прообразу великого романа.

Мы открываем страницы и слышим живую московскую речь давно отшумевших времен: «...сказал Афонька палач: как де стала у нас брань с губным дьячком с Степаном, и учал де меня бить и ссылать с двора, а говорил, ссылаючи от себя с двора: «язь де у себя в жому сам себе государь», а то де я слово привернул, не истерпев его побой, что будто он назывался царем, и он де, Степанка, того слова не говаривал; а что де я в прежних речах сказал слово за зубы, ино де то жь у меня слово было сказывать на Москве, что на Степана с пьянства молюл, что будто он назывался царем; а иного де у меня слова, oprичь того, за зубы нет; и того де я сам не ведаю, как Степан, божие милосердие крест, сняв с стены, бил, сказывала де мне жена моя».

«Жил я, сирота твой, у ней, Дары, на Романове во дворе 9 лет и ходил здесь на Москве в приказе Большого Дворца за ея делом. И в прошлом г., во 151 г. после Рождества Христова, шел я от Василья Арбенева в город Москвою рекою на первом часу дня. И как буду против Трехсвятских ворот, и меня на Москве реке ухватили Ульяновы люди Ляпунова, и связав, вкинули в сани, и привезли в Переславский уезд Рязанского к нему, Ульяну, и он Ульян, поехал на Усердь и вез меня связанного ж до Воронежа. И как на Воронеж приехали, и учат на меня кабалы просить, и я ему кабалы не дам».

«Васькина жена в расспросе сказала: муж де мой поехал к Москве за 2 недели до Рождества Христова и с Москвы де поехал сосед мой, Антон Данилов, и мне де он сказывал, что муж мой живет на Москве; а до поезду де московского муж мой жил дома со мною у себя на дворе; и в осень де муж мой хлеб с поля возил, и в гумне клал, и хлеб молачивал, и соседи наши его видали по все дни, жил де он, от соседей не таяся; а по лету де он бегал во Мценск, а сказывал де он, что во Мценску служил в полку со кн. Осипом Щербатым. А как де присылал г. Шеховской за мужем моим новосильских стрельцов, и муж де мой от стрельцов и сбежал; а я де в те поры после мужа своего жила все дома. А от какого де воровства муж мой бегал, и я де того не ведаю».

Творческое постижение первоисточников, их писательское прочтение и открыли глаза романисту на неведомый исчезнувший мир. В таких случаях говорят, что написанное до художника стало его собственностью.

Алексей Толстой добился того, что лучшие страницы его исторической прозы написаны были так — «глазам больно»; читатель видит ясный мир, видит движения и жесты, переданные словами, за которыми стоит многое — мы наблюдаем, как герой двигается, разводит руками, какой у него цвет лица... Беседуя с молодыми, Алексей Николаевич ревностно доказывал, что писателю нужно видеть до галлюцинации то, о чем он пишет. Правда, увлекаясь, Толстой доходил до возведения жеста-фразы в нечто самодовлеющее. В пылу споров художник даже утверждал: «Я не хочу проповедовать короткие фразы, но фраза, идущая от жеста, не может быть длинной». Тут-то и возникало противоречие. Лев Толстой и Лесков — именно к их опыту постоянно обращался автор «Петра Первого», — были сторонниками «длинной фразы», никак не вмещавшейся — нравится нам это или не нравится — во «внутренний жест». В творческой практике Алексей Николаевич, к счастью, не придерживался собственных жестких умозрительных установлений. Кругозор художника редко упирается в прокрустово ложе эстетических правил. Вспомним Сергея Есенина, поэзия которого куда шире границ, образно объявленных им в «Ключах Марии».

Немного о внешней истории «Петра Первого». Я уже сказал, что к теме Алексей Толстой обратился в памятном семнадцатом. В рассказе «Наваждение» не было еще образа самого героя, ибо автор ставил скорее стилистические задачи, искал выразительный речевой образ эпохи. Эту ограниченно-формальную задачу писателю удалось выполнить с блеском. Прислушаемся к интонации разговора, ведущегося в степи, где в траве и в небе птицы поют: «Был у нас тогда царем Петр, нынешний государыни родной отец. Чай, слышали? С великим бережением приходилось идти по дорогам. Бродячих ловили драгуны. Или привяжется на базаре ярыжка, с сомнением — не беглый ли? И тащит в земскую избу, не глядит на духовный сан. Ну, откупались: кому копейку дашь, а от кого скоронишься в коноплю». За этой разговорной лексикой, несомненно, стоит живой язык, отысканный, как мы могли убедиться, в приказных книгах.

В «Дне Петра» рисуется создатель Петербурга, увиденный «скорее инстинктом художника, чем сознательно». В рассказе среди других персонажей пономарь, кричащий «Питербурху быть пусту», видит на колокольне кикимору... Пономаря наказывают — «глупых чтобы слов не болтал».

Роман «Петр Первый» создавался на протяжении многих лет. Первая книга появилась в журнальной периодике в двадцать девятом — тридцатых годах; вторая книга — в тридцать третьем — тридцать четвертом. Третья книга, оставшаяся, увы, незавершенной, печаталась в последние военные годы. Одновременно Алексей Николаевич написал два варианта пьесы о Петре Первом, а также — в соавторстве с режиссером В. Петровым — сценарий крупного

художественно-исторического фильма «Петр Первый». Можно сказать, что образу Петра писатель посвятил лучшие и наиболее плодотворные годы. Роман был воспринят читателями с огромным интересом и вопреки наветам рапповских кликуш вошел в круг постоянного народного чтения. Необычайно высокую оценку роману дал Иван Бунин. Максим Горький писал Алексею Николаевичу в 1933 году: «...спасибо за «Петра», получил книгу, читаю по ночам, понемножку, чтоб «надольше хватило», читаю, восхищаюсь,— завидую. Как серебряно звучит книга, какое изумительное обилие тонких, мудрых деталей, и — ни единой лишней!» И далее, проявляя отеческую заботливость, Алексей Максимович просил Алексея Николаевича беречь себя для дальнейшей работы над романом.

Существовала давняя литературная традиция изображения Петра и его эпохи. У всех перед глазами пушкинский «Медный Всадник», обозначивший сложность, глубину и противоречивость всего объема дел и раздумий, связанных с фигурой деятеля, который был «то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник». Еще не остывшее дыхание петровской эпохи ощутимо на лучших пушкинских страницах — недаром поэт, постоянно обращавший мыслью к победителю под Полтавой, даже говорил, что с «...Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня». На всей русской исторической прозе виден отсвет «Капитанской дочки» и «Арапа Петра Великого», но думается, что Алексею Толстому с его пристрастием к вещному слову был предельно близок невоский северный воздух, которым насыщены энергичные и живописные строфы стихотворения «Пир Петра Первого»:

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Спор о Петре, об отношении к его преобразованиям, о его наследии и последствиях — спор, выходящий далеко за национальные границы, неотрывный от спора о национальном и всемирном, западников и славянофилов, сказавшийся на всем движении русской общественной и художественной мысли, на облике классического периода отечественной литературы. В свое время Ф. Энгельс отмечал, что Петр, «этот действительно великий человек... первый в полной мере оценил исключительно благоприятное для России положение в Европе».

В конце минувшего столетия к Петру и его эпохе обратился «первый русский европеец» (так он себя именовал) Дмитрий Сергеевич Мережковский, беллетрист и религиозный мыслитель. Мережковский видел в истории постоянную борьбу эллинской красоты с христианской бестелесностью, которая должна увенчаться торжеством обожествленной плоти — «третьим царством». Так мистически истолковывалась писателем гегелевская триада. Едва ли не в любом крупном событии истории Мережковский пытался увидеть противостояния Христа и Антихриста. Будучи плодовитым романистом, Мережковский отвлеченную идею свою одевал в костюмы различных стран и эпох — от Юлиана Отступника до Леонардо да Винчи, от декабристов до Наполеона, от эллинских богов до Мессии... В романе Мережковского Леонардо да Винчи не просто создает на стене монастырской трапезной гениальную «Тайную вечерю», но и одновременно рисует прельстительных идолов, ибо в художнике живут и противоборствуют христианский дух и языческая греховная плоть. Много размышлял Мережковский о русских делах — о судьбах религии и самодержавия, почвенничестве и западничестве, декабристах и, разумеется, не мог обойти фигуру Петра. В самом начале века Мережковский напечатал роман «Петр и Алексей», в котором не столько рисовалась семейная трагедия, связанная с противостоянием отца-царя и сына-царевича, сколько показывалась полная несовместимость исконного, отечественного с привозным, западноевропейским. Но недаром Мережковского называли «запойным игроком в символы». И Петр и Алексей, по Мережковскому, бездны, один — верхняя бездна, другой — нижняя. Умело показывая исторические реалии, кичась тем, что у него все документировано и нет ошибок, Мережковский не смог увидеть подлинной народной жизни — в романе действуют не герои, а музейные мумии, восковые персоны, говорящие книжными словами. Его образы должны были воплотить в себе небо и ад, они христианские мученики и языческие идолы одновременно. Христианский мир борется с языческим миром, и отсюда должно появиться, возникнуть царство Святого духа, в котором восцарит «детская радость пасхальных куполов». Все это было не чем иным, как — по определению Чехова — «Интеллигентской игрой в религию», религиозным декадансом, имевшим чисто словесное значение. И хотя роман «Петр и Алексей» был густо насыщен найденными и довольно живо увиденными подробностями и приметами времени, картины эпохи не получалось: Мережковскому всю жизнь мешала собственная художественная бессодержательность.

Мысль, которой Алексей Толстой руководствовался едва ли не на протяжении всей жизни, — это читательская приязнь и неприязнь к строчкам, бегущим по бумаге, ибо вернейший определитель нехудожественности — скука. «Петр Первый» исполнен живости и движения, он полон глаголов, обозначающих перемену мест

и состояний, тянущихся нескончаемой цепочкой, показывающих движение. Слова в романе поют и сверкают, напоминая пушкинский солнечный морозный день.

Основное в образе Петра — богатство характера, прослеживаемое в герое от молодых ногтей. Писатель любит, что знает все, и не боится это все — от трогательного до ужасного — показать: ведь оно вместились в жизнь личности необыкновенной. Мало оказалось видеть, подобно предшественникам, только пятна на камзоле, следовало выхватить всю фигуру из неевского тумана, показать ее вместе с движением характера и движением истории.

Одна из первых встреч с основным персонажем знаменательна — она в центре древнего Московского Кремля. Читатель видит себя в гуще событий, затерявшимся в толпе стрельцов, лихорадочно взирающим на ребенка, которого перепуганная царица Наталья Кирилловна с усилием ставит на перила Красного крыльца, дабы собравшиеся могли удостовериться — жив. Неприсязательно выглядит малыш — будущий герой Полтавы: «Мономахова шапка съехала ему на ухо, открыв черные стриженные волосы. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу». Перед нами еще беспомощный младенец, игрушка волн-обстоятельств, стихий, почти неуправляемых. Красное крыльцо всегда было трибуной, с которой властители объяснялись с народом. Недаром Соборная площадь и Красное крыльцо встречаются едва ли не на каждой странице московских летописей. В сцене, где герой еще безмолвствует, его внутренние клокочущие движения отмечают детский и потому особенно острый страх, запоминающийся на всю жизнь. Это подчеркивает романист. Шапка съезжает, открыв волосы дитяти, шея вытягивается, глаза округляются, рот сжимается — ни дать ни взять перепуганный мышонок. Вспомним, что в народном представлении мышь почти неотделима от страха, опасности, ловушки: «Мышке с кошкой в наклад играть». Грызун должен постоянно помнить о бегстве: «Худа та мышь, которая одну лазею знает». Ведь даже угрозы отдают бессилием: «Отольются кошке мышкыны слезки». Писатель знал фольклор не понаслышке!

В конце третьей книги мы видим Петра опытейшим и уверенным в себе полководцем, умеющим кратко повелевать, знающим могущество свое и пользующимся им с большой осторожностью, но не считающим нужным сдерживать праведный гнев: «Лицо Петра было страшное, — шея будто вдвое вытянулась, вздулись свирепые желваки с боков сжатого рта, из расширенных глаз готовы были — не дай боже, не дай боже — вырваться фурии... Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом, лежавшая среди дохлых карамор, искала что-то... нащупала гусиное перо... сломала...» И далее следует порывистая речь Петра, размышляющего о русском солдате.

Успокаиваясь, Петр, «поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом очерчивая и помечая на карте (стоя перед свечами и отмахиваясь от мошкар), — прочел военному совету ту диспозицию, которая через несколько часов привела в движение все войска, батареи и обозы». Здесь все прямо противоположно первой встрече с героем. Перед нами — всеильный исполин, чьих слов страшатся выдавшие виды генералы, одно слово которого поднимает в бой неисчислимы войска...

Любование героем не мешает автору видеть то, что, отказавшись от византийских великолепий-церемоний предков, став «мастеровым на троне», герой бесконечно далек от лубочной идеальности и в нем то и дело проступал, по меткому наблюдению Пушкина, «нетерпеливый самовластный помещик». Алексей Толстой не закрывал глаза на разлад, существовавший между монархом и народом страны, которая, как мы знаем, европеизировалась «по государеву указу». Научной биографии Петра до сих пор нет, и Алексей Толстой многое почувствовал пронизательностью художника, постигающего мир через вещный образ, который предельно нагляден и обладает способностью убеждать. Пусть историки доказывают, что Борис был иным — мы все знаем Годунова по Пушкину. Заслуга романиста особенно велика, если мы вспомним, что произведение создавалось в обстановке, когда в большом ходу были представления, упрощавшие и огрублявшие взгляд на действительность. Тень рапповцев шла по пятам литератора.

Не забудем, что художнику не удалось довести работу до конца. Предполагалось, что венцом станет Полтавская битва. В набросках сохранилось такое признание: «Роман хочу довести только до Полтавы, может быть до Прутского похода, еще не знаю. Не хочется, чтобы люди в нем состарились, что мне с ними, со старыми делать?..» В этом откровении много истины. Старость — время итогов. Как подводить черту под делом Петра, когда и поныне не утихают споры о самовластце? Существовали упреки, не лишние основания в том, что отдельные эпизоды были чересчур осовременены. Алексея Толстого можно понять — он создавал книгу в обстановке грандиозных сдвигов и военных потрясений. Рассказывая о былом, нельзя было уйти от современности.

Крупная и бесспорная удача романиста — образ Александра Меншикова, бомбардира Преображенского полка, ставшего одним из ближайших сотрудников Петра, оказывавшего мощное влияние на придворные и даже государственные дела. Сметливый, умный, решительный Меншиков принес много пользы делу Петра, хотя последний, выдвигая и поддерживая Александра Даниловича, обращался с ним довольно бесцеремонно, жестоко наказывая светлейшего князя за тщеславие и корыстолобие. Максим Горький называл талант Алексея Толстого веселым. И это действительно так.

Вот, к примеру, внезапная встреча старых друзей: «Петр вошел в спальню, и, не здороваясь, прямо к Александру Даниловичу, — ткнул ему под нос солдатский кафтан:

— Это лучше гамбургского? Молчи, вор, молчи, не оправдаешься. — Схватил его за грудь, за кружевную рубаху, дотащил до стены и, когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны на сторону, — у того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоящую у камина, и ту трость изломал об Алексашку». А потом — садятся мирно завтракать: ссора между своими закончилась. Недаром говорят: нет сказок лучше тех, что придумала сама жизнь. Афоризм принадлежит Андерсену, сказочнику, первому выдумщику Европы. Нельзя не подивиться наивности критиков, увидевших в Меншикове отрицательного героя. Нет, писателя привлекают в Александре удаля, отвага, размах, уживающиеся с невероятным плутовством... Художник на стороне правды — ведь не случайно же вчерашний бомбардир стал одним из «птенцов гнезда Петрова».

Роман многонаселен, и все герои говорят собственными голосами — упрямые и незадачливые стрельцы, царевна Софья, иноземцы из Немецкой слободы, Наталья Кирилловна; стрелок Овсей Ржов, семья Бровкиных, Лефорт, князь Роман Борисович, посол Емельян Украинцев, Муртаза-паша, старец Нектарий, адмирал Головин, Василий Васильевич Голицын, стольник Петр Толстой, саксонский король Август, Анна Монс, пастор Штрумир, солдат Федька Умойся Грязью, инженер Галларт, Дмитрий Михайлович Голицын, казачий атаман Даниил Апостол, генерал Арве Горн, умелец Нартов, великий гетман Любомирский, шведский король Карл, князь-кесарь Ромодановский, фельдмаршал Шереметьев... По числу персонажей роман может соперничать с самыми многолюдными книгами столетия — с «Емельяном Пугачевым» Вячеслава Шишкова, «Севастопольской страдой» Сергеева-Ценского и «Жизнью Клима Самгина» Максима Горького... Подобно вседержителю, художник воссоздал каждого во плоти, дал имя, облик, голос, походку и слово-жест, обладающий волшебным свойством доносить к нам через века и десятилетия то, что отделено от нас хребтами времени. Широкий художественный историзм удачно слился с напряженным психологизмом действующих лиц. Можно даже сказать, что никогда еще слово не достигало такой вещественности и зримости, как в «Петре Первом», где мы видим каждый поворот головы героя, движение его рук, выражение глаз, пятна света, выхваченные из сумерек, брельканье колокола; мы вдыхаем запах цветов табака за палисадниками на Кукуе, наблюдаем, как светятся отверстия-сердечки, вырезанные в ставнях в каждой половине в окнах у Анны Монс, к которой вот-вот вбегит запыхавшийся Петр.

Пейзаж в романе настолько неотделим от жизни героев, что можно говорить о полной и постоянной взаимопретекаемости. Петр напряженно обдумывает положение («Нельзя влезать в войну, откуда крымский хан висит на хвосте»), и одновременно окружение словно продолжает и дополняет его мироощущение: «Петр едва не по пояс высунулся в окошко. В низине за серыми ивами поднималась, затанувшая туманами, большая луна. На равнине выступили стога, древесные кущи, молочная полоса речонки. Все будто от века — неподвижное, неизменное, налитое тревогой... И эти, под темной липой, две тени торопливо шептали все про одно..»

— Балуй! — басом гаркнул Петр — Мишка! Шкуру спущу!

Девчонка притаилась за липовым стволом. Денщик, — минуты не прошло, — пронесся на цыпочках по скрипучей лестнице, поскребся в дверь.

— Свечу, — сказал Петр. — Трубку».

Не ради прихоти смотрит герой на луну — свечерело, и на челобитных нельзя ставить пометы, не зажигая свечу... И одновременно — липы, речка, тени за мокрыми кустами, — перед нами «кусок» яви.

Какова же общая идея движения характера Петра?

Как всякая переломная эпоха, петровская пора отмечена необычайной пестротой и противоречивостью событий, свершений, дел и поступков, иногда причудливо смешиваясь в одной жизни. Взгляд на время Петра в наиболее кратком и насыщенном виде автор выразил в канун войны, в сороковом году, в следующих заметках: «После стрелецкого бунта Петр стрижет боярам бороды, после взятия Нарвы он еще возит за собой бояр в саних не то в виде шутов, не то в виде заложников. Но уже в дальнейшем бояре сидят в Сенате. Бурмистерские палаты уничтожаются. На чудовищные хищения и казнокрадство (см. Посошкова) Петр отвечает только казнью Гагарина. На те внутренние настроения, которые через 6 лет привели при Петре II к тому, что все высшее общество отправилось в старорусских платьях, с хоругвями и крестными ходами из покинутого Петербурга в Москву, — Петр Первый отвечает лишь процессом Алексея».

Деятельность Алексея Николаевича Толстого в годы Великой Отечественной войны следует признать гражданственным подвигом. Двадцать второго июня сорок первого года он закончил последнюю страницу романа «Хмурое утро», завершив тем самым последнюю часть «Хождения по мукам», хотя труд над трилогией продолжался и позднее. Художественной хронике революционных лет было отдано двадцать лет. Писатель жаждал вернуться к «Петру Первому», но звали к себе неотложные фронтовые нужды. Писатель говорил: «Родина повелевает нам — в бой! Повелевает нам — к победе! Повелевает нам идти прямой вековой дорогой народной мудрости».

В ту пору во всем поразительном блеске развернулось дарование Толстого-публициста. Первая статья, звавшая страну к оружию, появилась в «Правде» 27 июня. На всю страну, на весь мир прозвучали такие его выступления, как «Что мы защищаем», «Я призываю к ненависти», «Москве угрожает враг», «Фашисты в Ясной Поляне», «Народ и армия», «Славяне, к оружию!», «Вера в победу», «Разгневанная Россия», «Красная Армия наступает», «Салют победе», «Русская сила», «Сталинград»... Некоторые выступления тех лет вполне должно рассматривать как современную публицистическую классику. В ноябре сорок первого года в «Правде» и «Красной звезде» одновременно появилось выступление Алексея Толстого — «Родина». И сегодня нельзя читать равнодушно слова, что словно вырублены по мрамору золотыми буквами: «Гнездо наше, родина, возобладала над всеми нашими чувствами. И все, что мы видим вокруг, что раньше, быть может, мы не замечали, не оценили, как пахнувший ржаным хлебом дымок из занесенной снегом избы,— пронзительно дорого нам. Человеческие лица, ставшие такими серьезными, и глаза всех — такими похожими на глаза людей с одной всепоглощающей мыслью, и говор русского языка — все это наше, родное, и мы, живущие в это лихолетье,— хранители и сторожа родины нашей». И далее Алексей Толстой звал читателей в бой именем Родины: «Все наши мысли о ней, весь наш гнев и ярость — за ее поругание, и вся наша готовность — умереть за нее».

Поразительно, но, донельзя загруженный газетной работой (он выполнял задания «Правды»), Алексей Николаевич ухитрялся создавать — одно за другим — художественные произведения. Широко печатались и пользовались успехом «Рассказы Ивана Сударева», смысл которых Алексей Толстой обозначил в названии одной новеллы — «Русский характер». Встречаясь с участниками боев — партизанами, кавалеристами, танкистами, пехотинцами, писатель внимательно слушал и запоминал их рассказы, охотно принимал записи о войне. Таким образом, Алексей Николаевич одним из первых начал постижение фронтовой народной молвы — это дело и ныне ждет своего продолжения.

Третью книгу романа о Петре (ее завершить не удалось) писатель считал главной, ибо в ней — законодательная деятельность царя, его новаторство в области изменения уклада жизни, поездки за границу, жизнь Запада того периода. Одновременно была начата работа над драматической трилогией «Иван Грозный». Художник рассматривал деятельность Ивана Грозного в свете глубоко познанной эпохи Петра Первого, как отражение огромного подъема творческих сил народа, время создания русского государства. Ему хотелось восстановить фольклорную память от эпохи, которой было посвящено множество песен,— мнение народное не совпадало со многими официозными

историографическими сочинениями девятнадцатого века. Далеко не все удалось: драма — труднейший вид литературы. Но следует сказать, что словесное мастерство писателя достигло наивысшего взлета. Что стоит реплика юродивого, адресованная царю: «Дорого соль продаешь, родимый. Слезами куски-то солим». Еще никто с таким мастерством не писал поистине алмазным языком. Впервые в литературе с разговорной естественностью зазвучала обыденная речь, вызванная силой творчества к нам из глубин шестнадцатого века. Герой говорит: «Станом я не тонок и не ловок, и нос у меня покляп, и разговор тяжел. А на коня сяду, охотского сокола на красную рукавицу посажу, да колпак сдвину, да завизжу! Румянцем залешься, глядя на меня. Мой-то, скажешь, суженый — чисто вяземский пряник» («Орел и Орлица»). Обращаясь к ключевым эпохам истории, художник привносил в жизнь словесные богатства, потребность в которых мы ощущаем год от года все сильнее.

Вся деятельность Алексея Николаевича Толстого — ярчайшая страница отечественной культуры двадцатого столетия. У нас есть веские основания считать «Петра Первого» одной из лучших книг современной литературы.

КНИЖНЫЙ МИР МИХАИЛА САБАШНИКОВА

«...открылся новый мир, существования которого никто раньше не подозревал».

Из каталога издательства
Сабашниковых.

Поэтами рождаются.

Издателями делаются.

Михаил Сабашников — представляется мне — родился для того, чтобы умножить и возвеличить книжный мир. Его бессребренность и щедрость носили столь всем очевидный характер, что казались совершенно невероятными. Из уст в уста передавалась писательская фраза: «У него попросишь тысячу, а он дает пять». Впрочем, разве не такими были самые крупные из наших издателей-тружеников? Когда я думаю о нем, то на мысленном окоме возникают такие фигуры, как Николай Новиков, Александр Смирдин, Флорентий Павленков, Иван Сытин — дружина духовных богатырей, чьим победоносным оружием была Книга. Своим книготворчеством, работая на разные слои общества, они прочно встали в ряд с другими выдающимися творцами культуры. Недаром в истории имя Новикова соседствует с именем

Карамзина; смирдинская книжная лавка вошла в биографию Пушкина; павленковская серия «Жизнь замечательных людей» предшествовала одноименной серии Горького, снискавшей всесветную известность.

...Старые книжные каталоги всегда необычайно интересны, будь то, скажем, «Антикварная книжная торговля Н. В. Соловьева» или нескончаемый том-список книг, собранных Алексеем Петровичем Бахрушиным и поступивших в библиотеку Исторического музея, или, к примеру, старая масановская Чеховиана... Но небольшое пожелтевшее издание, которое я теперь держу в руках, нельзя не листать благоговейно. На титуле напечатано: «М. и С. Сабашниковы». Подзаголовок гласит: «Каталог 1917—1924». И еще одна типографская строка на обложке: «Издательство существует с 1890 г.». На обороте адрес издательства — Москва, Никитский бульвар, 8,— дом, соседствующий с теперешним Домом журналистов. Черточка, объединившая годы, вместила многое, в том числе события эпохальной значимости, изменившие облик страны, отозвавшиеся громовыми раскатами на Западе и Востоке. Не только быт, а весь уклад жизни выглядел разворощенным. А в эту же самую пору на Никитском бульваре в Москве, на издательском столе, непрерывно — одна за другой — появлялись неторопливые потоки только что отпечатанных книг. Днем и ночью совершался подвиг бескорыстия! Чего здесь только не было! Древнеаттические комедии «Лисистрата» и «Всадники» Аристофана, современный «Курс палеонтологии» А. Борисяка, два тома былин и исторических песен (с вводными статьями и примечаниями Михаила Несторовича Сперанского), «Несколько слов о ремесле скульптора» Анны Голубкиной, драмы Еврипида, переведенные Иннокентием Анненским (извлеченные из стола последнего после смерти), «Античный мир» Ф. Ф. Зелинского, «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика» Б. Кроче, «Песня о Гайавате» Лонгфелло в бунинском переводе, «История западных славян (прибалтийских, чехов, поляков)» М. К. Любавского, очередное издание «Флоры средней России» П. Маевского, «Великое оледенение Европы. Век мамонта и пещерного человека» М. А. Мензбира, «Поэты пушкинской поры» со вступительной статьей Юрия Верховского, «Хлеба России» Р. Регеля, роман «Русь» П. Романова, «Носящий барсову шкуру» Шота Руставели (так именовалась поэма в переводе К. Бальмонта), факсимильный выпуск первого издания «Слова о полку Игореве», «Величие и падение Рима» Г. Ферреро, «Электрическая теория тел», древнескандинавский эпос «Эдда», «Экскурсия в подмосковные. Устраиваются Обществом изучения русской усадьбы», «Очерк по геологии Донецкого бассейна, Крыма и Кавказа» Н. Н. Яковлева... Список этот — обозначение вех на издательском пути.

Какие соображения вызывает чтение каталога Сабашниковых? Из огромного числа книг, в которых нуждались читатели первых десятилетий века, к изданию или переизданию отбирались в первую очередь те, чья ценность носила современный научный, предельно совершенный или непреходящий художественный характер. Античность, русская классика, эпические сказания соседствовали в выборе для переизданий с подробностями, вносящими в общую эстетическую панораму дополнительные краски, иногда существенные. Читателю не просто преподносился «латинской музы голос», но в наилучшем переводе, со вступительной статьей, написанной редкостным знатоком, с подробными комментариями. Стихи пушкинской плеяды, собранные под одной обложкой, — поэтическое слово в движении. Не просто «ранний Пушкин», а полупоэтичная «Лицейская тетрадь», в которой лицейский письменный фольклор помогает почувствовать воздух, которым дышал поэт, склоняясь над строфами «Бовы» и «К Наталье». Все сабашниковские издания были традиционно отмечены высокой филологической культурой. А рядом с зарубежной и русской словесностью — Руставели, которого Константин Бальмонт поэтическим переложением сделал доступным русскому читателю. Нельзя не вспомнить строфу из Константина Случевского: «Ну, память! Ты в права вступай и из немых воспоминаний былого лета выдвигай черты живых произрастаний!» Вечно живые произрастания выбирались и преподносились издательством читателю с большим вкусом и тактом.

Существовал и другой книжный поток, связанный с распространением знаний. Не просто наука, а классические научные труды; общедоступные издания, в которых расчет на множество читателей не заставлял поступаться высоким уровнем. Именно таково было направление сабашниковской «Ломоносовской библиотеки». Не чуждалось издательство и того, что почитается злобой дня. В двадцатых годах, как известно, большие надежды возлагали на хирургические опыты по омолаживанию организма, связывая с ними продление жизни. Казалось даже, что сбывается народная мечта о молодильных яблоках — «не диво старому помолодеть...». На эту тему были издания, такие, как «О продлении жизни» С. Воронова. Более, однако, характерны такие явления, как серия «Богатства России», с доскональным описанием природных даров, поставленных на службу человека. Не менее насущным делом был выпуск учебников для высшей школы.

Сабашниковский книжный каталог 1917—1924 годов — своего рода провидение будущего. Достаточно присмотреться к тому, что выпускали горьковская «Всемирная литература», «Academia», много позднее — «Библиотека всемирной литературы», ныне выходящие «Литературные памятники», «Литературное наследство», хотя круг интересов Сабашниковых оставался в своем роде единственным.

Обратимся последовательно к деяниям, истории и книгам.

Эпиграфом к тому, что было к двадцатым годам некоторым итогом, может быть слова из сборника Русского общества друзей книги, где сказано, что Сабашниковы осуществляли «программу того, что может быть названо русским гуманизмом». Известно, что большое видится на расстоянии. Недаром в наши дни Дмитрий Сергеевич Лихачев отметил, что братья Сабашниковы были издателями по призванию, талантливо и бескорыстно ведущими свое культурное дело, и работа их оставила значительный след в истории русской книги, что можно с уверенностью сказать — издательство Сабашниковых внесло значительный вклад также и в создание советского издательского дела.

Какovy исторические родники могучих книжных рек?

Сабашниковы, выходяцы из Вологодской губернии, издавна занимались промысловым и торговым освоением Сибири. Когда познакомишься с их делами, то перед глазами встают пейзажи из «Угрюм-реки» Вячеслава Шишкова, живописавшего неутомимо деятельных героев, наделенных полнокровным бытием. Принимали участие в знаменитой Российско-Американской кампании и держали торговлю чаем в старинной Кяхте, стоявшей на «шелковом пути», откуда прямая дорога вела в беспредельные монгольские степи, в сказочную Ургу, где изваяния Будды возвышались в дацане — монастыре, Дарующем Благоденствие. В забайкальской глуши Кяхта была долгое время не только средоточием торговли с Китаем и Внешней Монголией, но и культурным центром. Заметную роль в семье будущих издателей и в кяхтинском обществе играла Серафима Савентьевна, человек большой доброты и незаурядных знаний. В кяхтинском доме Сабашниковых в середине минувшего столетия бывали оставленные здесь на поселение ссыльные декабристы, в том числе М. А. Бестужев (один из пяти братьев-декабристов, тот самый, что вывел на Сенатскую площадь Московский полк), слышалась французская речь, сюда поступали из Москвы, Питера, Западной Европы книги и журналы, доходил через Китай даже герценовский «Колокол». Отмечено в мемуарных источниках прямое участие Сабашниковых в попытке устройства побега Михаила Бакунина, «апостола разрушения», как называли его современники, из ссылки. В шестидесятых годах прошлого века Сабашниковы перебрались в Москву. Михаил Васильевич родился в 1871-м, его брат Сергей — в 1873 году, им-то и суждено стать создателями реальной книжной утопии, постоянно ходя по краю бед и потрясений. Мы, вспоминая Сабашников, росли, окруженные людьми, весьма ценившими образование, искренне преданными делу народного просвещения, хлопотавшими о нем и придававшими нашему воспитанию и обучению самое серьезное значение. Михаил Сабашников в автобиографии,

напечатанной некогда в сборнике, посвященном газете «Русские ведомости», с гордостью перечислит домашних учителей, составлявших умственный цвет тогдашней Белокаменной. Среди них — Николай Васильевич Сперанский, знаток народного образования и прекрасный воспитатель, А. Е. Грузинский, ученик Буслаева и бессменный председатель Общества любителей российской словесности, Н. С. Тихонравов, «образцовый издатель древних письменных памятников» и академик: общение с последним было необычайно полезно. Тихонравов редактировал Полное собрание сочинений Гоголя и на своем примере учил братьев научной редакции текстов. После смерти Тихонравова Сабашниковы купили его библиотеку и архив, а затем бесплатно передали их в Румянцевский музей. В. Н. Щепкин, выдающийся палеограф, славист, хранитель Исторического музея, историк М. К. Любавский, П. Ф. Маевский, крупный ботаник, позднее с издания книги которого «Флора средней России» и началась книготворческая деятельность братьев. В сборнике «Русские ведомости» было некогда сообщено: «Еще до поступления в университет М. В. совместно с младшим братом своим Сергеем Васильевичем стали издавать книги научного содержания, первоначально не выставляли своей фирмы на обложке». И далее говорится, что «Злаки средней России» выпускались от имени старшей сестры Е. В. Барановской — «в знак благодарности за заботы ее по их воспитанию».

Первая сабашниковская книга. Родничок, ставший книжным потоком. Современный нам исследователь С. В. Белов обратил внимание на поразительную молодость издателей — Михаилу Васильевичу было в ту пору девятнадцать лет, а Сергею — всего-навсего семнадцать: «Факт беспрецедентный в истории русского издательского дела, хотя и другие крупные представители отечественного книжного дела начинали свою издательскую деятельность в молодости: М. О. Вольфу был 31 год, А. Ф. Марксу — 31, И. Д. Сытину — 25, К. Л. Риккеру — 29, Ф. Ф. Павленкову — 26, П. П. Сойкину — 23».

Культурно-книжные традиции имели глубокие корни. Старший из братьев, Федор Васильевич, отыскал и приобрел средневековую тетрадь. Она оказалась подлинной рукописью Леонардо да Винчи, в которой рукой великого флорентийца было начертано название — «О летании». Свою исключительную по значимости находку Сабашников-старший обнародовал, издав в Париже в 1899 году, воспроизведя тетрадку факсимильным образом. Оригинал Федор Васильевич передал как дар городу Винчи около Флоренции, чьим почетным гражданином он впоследствии был избран. Внушительный том, одетый в пергамент, в библиотеке Леонида Максимовича Леонова напоминает ныне нам о «возрожденческом эпизоде» в жизни Сабашниковых. Ныне сабашниковское издание повторено итальян-

ским издательством «Джунти» и показывалось в Москве на международной книжной ярмарке. И еще об одном фамильном достижении. Постоянное оказание помощи тем, кто стремился к знаниям, было в семье заведенным обычаем. На протяжении нескольких лет стипендию из средств Сабашниковых получал Михаил Владимирский, студент Московского университета, ставший позднее видным деятелем партии и государства. Владимир Ильич Ленин в письме к матери из Кракова в 1912 году так размышлял о делах М. И. Ульяновой: «Насчет переводной работы трудно устроить: надо к издателям найти связи в Москве или Питере. Надя предлагает, я думаю, хороший план — осведомиться у Сабашниковых»¹.

Вспоминая тех, с кем ему в молодые годы приходилось общаться и действовать, Сабашников подчеркивал, что все это были люди недюжинные, с повышенными умственными запросами, впечатлительные и отзывчивые, — для них свободололюбивые традиции являлись славным наследием ряда поколений. Весьма характерной фигурой в кругу Сабашниковых был Вячеслав Евгеньевич Якушкин, — в его кабинете висел портрет Гарибальди, хранились письма декабристов. Память о шестидесятиниках почиталась долгом.

Можно выделить эпохи в жизни издательства. Первый — естественнонаучный, олицетворяемый тимирязевской «Жизнью растений» и учебником ботаники. Затем — гуманитарный, связанный с «Памятниками мировой литературы», «Пушкинской библиотекой», «Русскими Пропилеи». Потом наступило время научных серий, «Строений вещества», «Трудов Психиатрической клиники МГУ». Самая последняя пора — «Записи прошлого».

Емкий каталог издательства Сабашниковых и кооперативного издательства «Север», непосредственного восприемника и продолжателя, охватывает время с 1891 по 1934 год. За три десятилетия и возникла украшающая теперь наши полки библиотека Сабашниковых, основу которой составили серийные издания. Перечислю их: «Серия учебников по биологии» (1898—1919), «Первое знакомство с природой» (1909—1913), «История» (1912—1927), «Памятники мировой литературы» (1913—1925), «Страны, века и народы» (1913—1924), «Русские Пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы» (1915—1919), «Пушкинская библиотека» (1917—1922), «Ломоносовская библиотека» (1919—1926), «Руководства по физике, издаваемые под общей редакцией Российской ассоциации физиков» (1919—1924), «Богатства России. Издание Комиссии по изучению производительных сил России» (1920—1929), «Исторические портреты» (1921), «Итоги работ русских опытных учреждений» (1923—1927), «Записи прошлого» (1925—1934). Как

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч. Издание пятое, 1965, т. 55, стр. 330—331.

значится по каталогу, свыше 230 названий появилось на свет вне серий, составив также обширное и по-своему последовательное собрание. Тут и «Политика» Аристотеля, и статьи Белинского, и «Грибоедовская Москва» Гершензона...

Особенность издательской деятельности Михаила Сабашникова историки усматривают в проповеди научных знаний, в обращении к биологии и физике, во внимании к точным наукам, в распространении дарвинизма, в практической службе, в обнародовании для широкого читательского круга того, что составляет производственную мощь страны (близилась пора пятилеток!) и т.д. Обращает внимание, когда листаешь каталог, стремление «идти по вершинам» — выбирать лучшее из культур и наук. Привлекаются к сотрудничеству — и в этом заслуга Михаила Васильевича — мужи науки, такие, как Климент Аркадьевич Тимирязев, чья «Жизнь растений», выполняя свою естественнонаучную работу, стала классическим примером сочетания глубины с общедоступностью и увлекательностью. «Жизнь растений» издается и сегодня, шествуя с бесчисленными читателями по миру. Памятник Тимирязеву на Тверском бульваре стоит напротив дома, в котором долго проживали Сабашниковы, — живое иносказание, смысл которого в связи науки с печатным словом.

Несколько биографических подробностей.

Жизнь невероятнее вымыслов. Тяжким ударом была трагическая гибель в девятом году Сергея Сабашникова, младшего из братьев, составявшего радость и гордость семьи, всегда считавшей, что именно Сергей Васильевич умел всех ярче и значительнее воплощать в деле фамильные представления о долге и обязанностях человека. В память о нем издательство до конца дней называлось издательством Михаила и Сергея Сабашниковых, чьи имена на книжной марке обозначались одной буквой.

Во время октябрьских дней в Москве семнадцатого года дом, в котором жили Сабашниковы, оказался в районе боев, пули впились в подоконники. Пламя охватило здание. Сгорели контора и издательства, склад и библиотека, собиравшаяся с времен Кяхты. Превратились в пепел книги, помнившие прикосновения рук декабристов. Удалось вынести из пожарища только издательские рукописи. Часть книг, находившихся в типографии, удалось спасти, — продавая их, Михаил Васильевич мог продолжать издательское дело, рассчитываясь с авторами и полиграфистами. К житейским злоключениям просветитель относился стойчески. Близко знавшие Сабашникова отмечали — вдохновение его состоит в том, что «за каждой напечатанной книгой он видит сюиту еще не напечатанных».

Стиль складывался из сочетания противоположностей — не поступаясь академизмом, быть доступным всем. В этом было основное, наложившее отпечаток на выпуск вечных книг, составивших

«Памятники мировой литературы», пожалуй, самую известную сабашниковскую серию. Памятники включали разделы: «Античные писатели», «Писатели Запада», «Творения Востока», «Народная словесность», «Русская словесность», «Книги Библии». Легко представить себе участника Брусиловского прорыва или перекопских деяний, извлекшего из походной сумки в часы затишья том «Наедине с собой» Марка Аврелия, приобщающегося к мудрости веков. «Памятники мировой литературы» дают возможность проследить черты преемственности, которыми отмечена вся деятельность Сабашникова. В конце восемнадцатого века Карамзин — ученик Новикова — напечатал перевод из Калидасы и статью о великом индийском поэте. Сабашников напечатал творение с предисловием самого Сергея Федоровича Ольденбурга, востоковеда, одного из основателей русской индологической школы, академика, знатока буддизма и древнеиндийской литературы.

...В сорок первом году — прямое попадание немецкой бомбы в квартиру Сабашниковых в Лужниках пятого ноября. Михаил Васильевич был тяжело ранен и засыпан рухнувшей стеной; его, заживо погребенного, откопали, и несколько месяцев жил он в условиях фронтového города. 12 февраля 1943 года Сабашников окончил дни свои. В последние предвоенные годы был редактором кооперативного издательства «Север», а затем «сотрудником артели по изготовлению наглядных пособий для школьников». Сабашников, перебирая в памяти встречи, лица, разговоры, книги, усиленно писал мемуары, начатые еще в двадцатых годах, — работу закончить не удалось, но личные и общественные подробности тех времен, записанные Михаилом Васильевичем, бесценны. Обращает внимание на себя язык воспоминаний — естественно-разговорный, деловито-точный, но без навязчивой канцелярщины, ставшей на рубеже столетий привычной в бумагах «людей пера». Кратки и выразительны характеристики деятелей, ставших достоянием прошлого. Всего несколько штрихов — и перед нами портрет собирателя народных картинок Дмитрия Ровинского, чьи коллекции, став музейным достоянием, ценятся и сегодня. А как живописна Москва, нарисованная Сабашниковым! Незабываемы страницы, посвященные встрече в Колонном зале Л. Н. Толстого и К. А. Тимирязева...

Подойдем к книгам, оставленным нам просветителем, и перелистаем несколько изданий, — о многом говорят нам вечные спутники, как принято именовать авторов подобного рода.

В серии «Записи прошлого» едва ли не все выпуски сразу же по появлении на свет являли из себя духовные сокровища, — теперь, по истечении десятилетий, им цены нет. Серия издавалась с 1926 года под редакцией С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. Ставила задача: «...дать изображение развития русской культуры и картину

жизни и быта разных слоев русского народа в показаниях свидетелей и деятелей нашего прошлого».

Одна из самых артистичных книг, отчетливо выявляющих сабашниковский издательский почерк, — «Повесть о брате моем А. А. Шахматове» Е. А. Масальской. Думается, что об этой книге ныне следует рассказать более подробно. Была выпущена только часть первая, продолжение не успело увидеть свет и осталось в издательском архиве. Алексей Александрович Шахматов — выдающийся языковед, создатель трудов по фонетике, диалектологии, лексикографии, по истории русского языка и языку восточных славян. Неоценима заслуга Шахматова, проследившего историю создания летописных сводов, воссоздавшего, в частности, слои «Повести временных лет». В самом начале сабашниковского издания, в предисловии, приводился отрывок из речи академика Н. К. Никольского, посвященной герою книги: «Если бы в наше время продолжались старинные народные записи, которыми с таким увлечением занимался Алексей Александрович, то летописец без колебания и преувеличения был бы вправе отметить его кончину словами: «Такового не бысть на Руси прежде, и по нем не вем, будет ли таков». Масальская написала повесть, изобилующую подробностями, красочно и живо рисующими буднич- ный облик искателя слов, выглядящего на расстоянии лет почти легендарно. Будучи гимназистом, Шахматов все время проводил в университетских библиотеках. Его детской игрой было собирание санскритских, древнегерманских, персидских, иранских, финских, кельтских и других слов. На магистерской защите А. И. Соболевского с юным Шахматовым произошло следующее: «...из публики вдруг к удивлению всех поднялся маленький гимназист в синеньком мундирчике с серебряной каймой и стал возражать, да так дельно, так основательно, что Соболевскому пришлось отражать удары, как будто бы их наносила рука опытного бойца». Рядом — множество бытовых подробностей, показывающих будущего ученого как увлеченного человека: «Усевшись на длинную ольху, вывороченную еще осенней бурей, Леля начинал нам декламировать из Гомера, по-гречески, наизусть». Или: «В Козлове в вагон вошло несколько турок, и Леле доставило громадное удовольствие говорить с турецким офицером по-турецки и арабски».

Сабашников умел находить людей знающих, увлеченных, вкладывавших в дело душу. Книга не просто воспроизводила фотографии юного Шахматова — отпечаток снимка вручную был наклеен вначале. Поныне книга сохраняет свое значение как источник сведений о начале пути Шахматова, чье имя неотъемлемо от развития науки о языке, как памятник культуры и быта, которое отшумело и ушло. Как своего рода отклик в одном из изданий двадцатых годов

было сказано: «Необходимо, чтобы с жизнью Шахматова познакомилась молодежь, новое поколение: у человека Шахматова можно многому научиться так же, как многому научилась у ученого Шахматова». Если с этой точки зрения подойти к повести Масальской, то мы не можем без благодарности не подумать и о Михаиле Васильевиче Сабашникове.

Перечислю наиболее существенное, выпущенное в серии «Записи прошлого»: «Из моей жизни» и «Дневники» В. Я. Брюсова, «Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных», две книги воспоминаний Л. М. Жемчужникова, «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» Т. А. Кузьминской, ставшей, как известно, прототипом Наташи Ростовской, героини романа «Война и мир», «Годы близости с Достоевским» А. П. Сусловой, дневники Софьи Андреевны Толстой, переписка «Толстого и Тургенева», два выпуска мемуаров «При дворе двух императоров» А. Ф. Тютчевой, воспоминания Б. Н. Чичерина... По сути дела, каждая книга на вес золота, едва ли не каждая достойна стать украшением и библиотеки и музея.

На обложках изданий «Записи прошлого» Сабашников воспроизводил отзывы о книгах, напечатанных в периодике. Так, на одной из обложек мемуаров Кузьминской — отклики на брюсовские «Из моей жизни» и «Дневники»: «Брюсов беспощаден к самому себе в изображении своего детства и юности. Записки являются ценным материалом к пониманию эпохи и самого Брюсова, как человека» («Известия», 3 апреля 1927 г.); «Перед нами чрезвычайно интересное литературное произведение, задуманное в определенном стиле искренности. Эта искренность заострена Брюсовым в сторону некоторого сгущения общечеловеческих качеств» («Красная новь», № 4, 1929 г.).

Татьяне Андреевне Кузьминской не довелось закончить свою работу, рисуящую довольно полно жизнь в Ясной Поляне. Вступительная заметка к третьей части мемуаров гласила: «Закончив третью часть воспоминаний, покойная Т. А. Кузьминская приступила к писанию следующей части, которая должна была заключать в себе рассказ о событиях 1870-х годов. Но из этой части Татьяна Андреевна успела написать лишь четыре главы, которые и печатаются в настоящей книге в качестве приложения».

Среди самых памятных книг серии «Записи прошлого» следует отметить «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей» П. И. Бартенева, издателя знаменитого «Русского архива», библиографа, историка, археографа, пушкиниста. «Рассказы о Пушкине...» завершили многочисленные бартеневские штудии, вошедшие в духовный обиход страны. Напомню о таких знаменитых изданиях Бартенева, как «Записки Г. Р. Державина», «Осьмнадцатый век», «Деятнадцатый век», «Архив кн. Воронцова» (в течение четверти

века последний был издан в сорока выпусках), «Собрание писем царя Алексея Михайловича»... Как известно, Петр Иванович Бартенев умер в двенадцатом году и выпуск его «Рассказов о Пушкине...» — заслуга Сабашникова и его ученого окружения. Недаром бытовало в двадцатых годах выражение: «Сабашниковская академия».

Следует отметить, что Михаил Васильевич настоятельно внимание уделял тщательности публикаций, и опыт серии «Записи прошлого» вошел в золотой фонд издательской культуры. Текстологический уровень, редактирование, пояснительные статьи, справочные отделы — все «высшего чекана» и на расстоянии лет видится особенно хорошо. Если мы сегодня перелистаем «Алфавитный указатель имен и примечания» к выпускам Т. А. Кузьминской, то увидим, какой бесценный энциклопедический материал они содержат. А ведь именно эти бесчисленные Агафьи Михайловны, Васьки, Веры Ивановны, Кирюшки составляли бытовое окружение толстовской семьи в Ясной Поляне.

Единство художественного оформления объединяет «Записи прошлого». Здесь опять-таки напомним слова, произнесенные в 1926 году Русским обществом друзей книги, характеризовавшие Сабашникова таким образом: «За отдельной вещью он никогда не теряет общего облика собрания. Его больше радует ясность сопоставления и последовательность развития, нежели любование тем ли, этим ли приглянувшимся экземпляром... В сабашниковской книге есть музейный вес. Когда они подбираются рядом и вытягиваются на полках, — сказывается их музейная природа. Стоя перед ними, даже кажется, будто в них есть какая-то капля драгоценной крови палеотипов». Последнее нам, если говорить положе руку на сердце, кажется некоторым преувеличением — при чем тут палеотипы, то есть печатные издания первой половины шестнадцатого века? При чем здесь те, кто прославил выпуском палеотипов, как, например, Альд Мануций или Франциск Скорина? Но, если вдуматься глубже, названные имена открывают возможность для сопоставлений. Дело не только в том, что Сабашников, как некогда Альд — старший Мануций, издавал самозабвенно античных авторов, в том числе Софокла и Еврипида. Сходство в другом — благородно-скромные книги московского издателя, выходившие в бурные десятилетия, являются, так же как палеотипы Мануция, шедеврами книгопечатания, в них на свой лад — «все гармония, все диво».

Заметную роль сыграл художник книги Алексей Кравченко, чье оформление «Деревянной королевы» Леонида Леонова стало блистательной страницей в отечественной книжной графике. Мастер штихеля, работавший часто в технике деревянной гравюры, Кравченко открыл себя в произведениях малых форм. Он глубоко почувствовал особенность леоновского слова — воспроизводя зримо то, что виделось

автору «Деревянной королевы»: «...это ли не вагнеровский лейтмотив, гневная медь которого расцветает над головой нечаянным звенящим цветком?» Не случайно одну из своих самых лучших ранних вещей, «Гибель Егорушки», Леонид Максимович Леонов посвятил Сабашникову.

Выпустив свыше шестисот названий книг, издательство Сабашниковых существовало до 1930 года. Затем на основе сабашниковской редакции возникло кооперативное издательство «Север», в котором редакционно-издательской частью заведовал Михаил Васильевич. Под маркой «Севера» Сабашников напечатал несколько книг из «Записей прошлого», в том числе такие ценнейшие, как «Хроника рода Достоевского» и «Дневники» Софьи Андреевны Толстой. «Петербургские очерки» П. В. Долгорукова печатались под редакцией Павла Щеголева, видного историка, интересовавшегося революционным движением, автором знаменитой книги «Дуэль и смерть Пушкина». Павел Елисеевич умер в 1931 году, и долгоруковские «Петербургские очерки» и ставшая знаменитой книга о Пушкине стали достоянием читателей позднее. Осенью 1934 года «Север» перестал существовать, став частью «Советского писателя». В памятном году — в одиннадцатый раз! — Сабашников напечатал определитель флоры средней России, в минувшем веке именно с этой книги Л. Ф. Маевского началась издательская деятельность юных братьев. Недаром латинское изречение гласит, что книги, как и люди, имеют свою судьбу.

Еще в двадцатых годах Михаил Васильевич взялся за написание воспоминаний. Неторопливо, страница за страницей, воссоздавал он своим бисерным почерком былое, — множество лиц и судеб стояло перед его глазами. Ничего не хотелось упускать, и иногда подробности под пером слишком выходили на первый план. Но в них-то вся соль. Сообщается о встречах в Лозанне со старым другом Герцена — Н. В. Жуковским, сохранившим благодарную память о издателе «Колокола». Через Жуковского к нам и доносит Сабашников отточенные герценовские максимы: «История движется по диагонали. Чтобы диагональ эта получила желательное нам направление, мы должны изо всех сил тянуть в свою сторону!» С кем только не приходилось за долгие годы общаться мемуаристу — Миклухо-Маклай, Шанявские, Танеев, Вернадский, С. Н. Трубецкой, Брюсов, Голубкина...

Книга, которая у вас, дорогие читатели, перед глазами, родилась не вдруг. Михаил Васильевич успел сделать лишь «черновые наброски», хотя они и обладают несомненными и редкими достоинствами — предельно точны, естественны, живописны, своеобразны. Некоторые страницы — превосходная проза: перечитаем характеристику Маевского или сопоставление Москвы с Парижем... Рукопись бережно

хранилась в семье Нины Михайловны Артюховой, дочери Сабашникова. Когда в семидесятых годах возник «Альманах библиофила», то на его страницах и были напечатаны первые отрывки из мемуаров Сабашникова. В дальнейших хлопотах и в подготовке текста к печати приняли участие Нина Михайловна Артюхова и внучки Сабашникова Татьяна Григорьевна Переслегина и Елена Сергеевна Сабашникова.

Какую бы из сабашниковских книг мы ни взяли, будь то «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», «Русские Пропилеи», сочинения Белинского, Аристофана, Огарева или Шелли, труды, посвященные декабристам, или «Русь» Пантелеймона Романова, — во всем мы чувствуем прикосновение заботливых рук, внимательный глаз, каждая является связующим «мостом» между читателем и автором. В 1975 году в Ленинской библиотеке состоялась выставка изданий Сабашниковых — она была торжественно открыта, посещалась многочисленными читателями и пробудила интерес к тому, что удалось сделать Михаилу Васильевичу.

Фигура Сабашникова достойно венчает галерею издателей-просветителей, внесших свою лепту в сокровищницу отечественной культуры.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Записки старого книжника	3
История и слово	19
Книжный мир Михаила Сабашникова	35

Евгений Иванович ОСЕТРОВ

ЗАПИСКИ СТАРОГО КНИЖНИКА

Редактор В. П. Енишерлов

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 27.08.84. Подписано к печати 22.10.84. А 00439.
Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,08. Усл.
кр.-отт. 2,28. Тираж 91 000 экз. Изд. № 2748. Зак. № 3421.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

АККРЕДИТИВ

● Аккредитив сберегательной кассы — удобный способ хранения денег в пути: при поездке в отпуск, командировку, при переезде из одной местности в другую.

● Аккредитив является именованным документом, по которому можно получить деньги в сберегательной кассе любого города или района.

● Сберегательные кассы выдают аккредитивы двух видов: на любую сумму до 3000 рублей включительно и на сумму в 300 рублей. Деньги по аккредитиву до 3000 рублей выплачиваются сберегательной кассой в полной сумме, на которую был выдан аккредитив. Если владелец такого аккредитива желает получить только часть денег, то на оставшуюся сумму ему выдается новый аккредитив. По аккредитиву в 300 рублей можно получить деньги в полной сумме или частями, по 100 рублей. Для получения денег по аккредитиву установлен четырехмесячный срок со дня выдачи аккредитива. После этого срока оплата аккредитива сберегательной кассой может быть произведена в течение трех лет только с разрешения управления Гострудсберкасс области, края или республики, название которого указано на бланке аккредитива.

● При получении денег по аккредитиву его владелец должен предъявить в сберегательную кассу паспорт или заменяющий его документ.

● Владелец аккредитива может доверить получение денег по аккредитиву другому лицу.

**Российское республиканское Главное
управление Гострудсберкасс СССР**